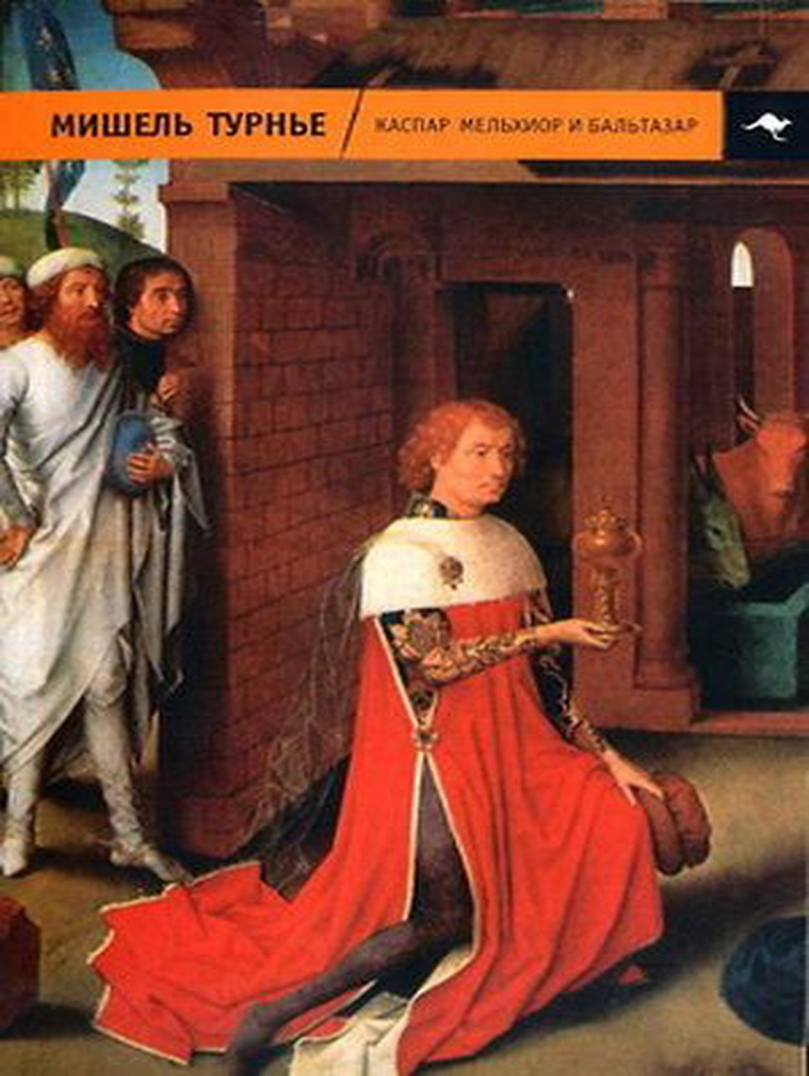
МИШЕЛЬ ТУРНЬЕ

КАСПАР МЕЛЬХИОР И БАЛЬТАЗАР



Каспар, Мельхиор и Бальтазар
Мишель Турнье

Аннотация
Каспар, царь Мероэ
Бальтазар, царь Ниппура
Мельхиор, принц Пальмиры
Златобород, или Престолонаследие
Ирод Великий
Осел и вол
  Вол
  Слово осла
Таор, принц Мангалурский
  Сладкие годы
  Соляной ад
Постскриптум

Аннотация

Мишель Турнье не оспаривает евангелиста, но создает свою историю о волхвах, принесших загадочные дары к вифлеемской колыбели… Как Булгаков с историей о Пилате, он играет с историей волхвов, царей с Востока. Царь Мероэ, принц Пальмиры, владыка Ниппура… Откуда они пришли и куда отправились дальше?

Все, что говорит о волхвах евангелист, является правдой, утверждает писатель. Однако это не вся правда. Дело в том, что на самом деле, волхвов было четверо…

Каспар, царь Мероэ

Черен я, но я царь. Быть может, однажды я прикажу начертать на тимпане моего дворца эту парафразу песни Суламифи: «Nigra sum, sed formosa». [1] И впрямь, что красит мужчину более, нежели царская корона? Эта истина была для меня настолько бесспорной, что я просто о ней не задумывался. Пока однажды в мою жизнь не вторглась белизна…

Все началось в пору последней зимней луны, когда мой главный астролог Барка Май сделал мне довольно невнятное предостережение. Барка Май — человек честный и добросовестный, а учености его я доверяю в той же мере, в какой он сам в ней сомневается.

Я сидел на террасе дворца, задумчиво созерцая ночное небо, мерцающее звездами под первыми в году дуновениями теплого ветра. Песчаная буря, свирепствовавшая семь долгих дней, улеглась, я дышал полной грудью и, казалось, вбирал в себя аромат самой пустыни.

По легкому шороху я понял, что кто-то стоит

---

[1] Примечания: 1

Черна я, но красива *(лат.). — Примеч. пер.*

за моей спиной. Так бесшумно мог войти только один человек — Барка Май.

— Мир тебе, Барка. Что ты хочешь мне сообщить? — спросил я.

— Я знаю так мало, государь, — ответил он с обычной своей осмотрительностью, — но эту малость я не вправе от тебя скрыть. Странник, явившийся от истоков Нила, возвещает нам появление кометы.

— Кометы? Будь добр, объясни мне, что такое комета и что означает ее появление.

— Мне легче ответить на твой первый вопрос, нежели на второй. Слово «комета» ίχστηρ χομήτηξ пришло к нам из Греции, оно означает «волосатая звезда». Это бродячая звезда, она неожиданно появляется в небе и так же неожиданно исчезает, формой своей она чаще всего напоминает голову, за которой тянутся развевающиеся волосы.

— Словом, это отрубленная голова, плывущая по воздуху. Продолжай.

— Увы, государь, появление кометы редко бывает предвестием добра, хотя беды, которые она возвещает, почти всегда сулят утешение в грядущем. Так, например, если комета предсказывает смерть царя, как знать, не славит ли она уже возвышение его юного наследника? И разве

тощие коровы не предшествуют времени тучных коров?

Я попросил Барку Мая говорить прямо, без обиняков.

— Скажи мне, чем примечательна та комета, о которой рассказал твой странник?

— Во-первых, она движется с юга на север, но делает по пути остановки, причудливые скачки, зигзаги, так что, может статься, она и не появится в нашем небе. Это будет великим благом для твоего народа!

— Говорят, бродячие звезды принимают порой самую затейливую форму: меча, короны, стиснутого кулака, из которого сочится кровь, — словом, чего угодно!

— Нет, государь, нынешняя комета — самая обычная. Говорю тебе, это голова и развевающиеся волосы. Однако насчет ее волос мне сообщили кое-что странное.

— Что именно?

— Говорят, они золотые. Да, эта комета золотоволосая.

— Не вижу в этом ничего угрожающего.

— Ты прав, ты прав; и все же поверь мне, государь, для твоего народа будет большим благом, если комета обойдет Мероэ стороной!

Я совсем забыл об этом разговоре, когда две недели спустя проезжал со своей свитой по баалукскому базару, который славится разнообразием товаров, привозимых из самых дальних стран. Меня всегда привлекали диковинные предметы и необычные существа, сотворенные прихотью природы. По моему приказу в дворцовом парке выгородили нечто вроде заповедника, где содержатся замечательные образцы африканской фауны. Там живут гориллы, зебры, сернобыки, священные ибисы, питоны из Себы, смеющиеся мартышки. Львов и орлов я отверг, я нахожу их слишком обыкновенными, и к тому же они превратились в затасканные символы, но я жду единорога, феникса и дракона — их обещали мне доставить проезжие путешественники. Для верности я даже дал деньги вперед.

В тот день Баалук не предлагал покупателям никаких примечательных обитателей животного царства. Я, однако, приобрел довольно много верблюдов — хотя я уже много лет не удалялся от Мероэ на расстояние более двух дней пути, меня смутно тянуло в дальнюю дорогу, я предчувствовал ее неотвратимость. Итак, я приобрел верблюдов с нагорья Тибести, черных, курчавых, неутомимых; верблюдов-носильщиков из

Баты, огромных, тяжелых, с короткой светло-коричневой шерстью, — в горах эти неуклюжие животные непригодны, но зато они не боятся москитов, мух и слепней; и конечно, изящных и быстроногих иноходцев лунного цвета, этих легких, словно газели, дромадеров, на которых в алых седлах восседают люди свирепого племени гарамантов, спустившиеся с вершин Ахаггара и Тассили.

Но дольше всего задержались мы возле работорговцев. Разнообразие человеческой породы привлекало меня всегда. Мне кажется, человеческий дух выигрывает оттого, что может проявить себя в этом многообразии сложений, черт лица и цвета кожи, подобно тому как мировая поэзия обогащается от многообразия языков. Я не торгуясь приобрел дюжину крохотных пигмеев, которых думаю посадить на весла в моей царской фелуке, — каждую осень я хожу на ней вверх по Нилу охотиться за белыми цаплями между восьмым и пятым порогами. Я уже повернул обратно к дому, не обращая внимания на безмолвную и угрюмую толпу закованных в цепи людей, которые ожидали возможных покупщиков. Но я не мог не отметить два золотистых пятна, резко выделявшихся среди всех этих черных голов:

то были молодая женщина и юноша. Кожа молочной белизны, зеленые, как вода, глаза, а по плечам рассыпались густые волосы цвета самого драгоценного, самого солнечного из металлов.

Я уже сказал, что меня привлекают диковинки природы, но по-настоящему я люблю лишь то, что привозят с юга. Недавно пришедшие с севера караваны доставили мне гиперборейские плоды, которые созревают без тепла и солнца, — зовутся они яблоками, грушами и абрикосами. Я не мог наглядеться на этих уродцев, но на вкус они оказались отвратительны — водянистые и пресные. Конечно, весьма похвально, что они приспосабливаются к условиям дурного климата, но на столе могут ли они соперничать даже с самым скромным фиником?

Памятуя об этом, я все-таки послал моего управителя узнать, откуда родом молодая рабыня и сколько за нее просят. Управитель скоро возвратился. Женщина и ее брат, рассказал он, составляют долю добычи, захваченной массилийскими пиратами с финикийской галеры. Рабыня стоит дороже обычного, оттого что торговец продает ее только вместе с юношей.

Пожав плечами, я приказал купить обоих пленников и тотчас забыл о своем приобретении.

По правде сказать, мысль о пигмеях занимала меня гораздо больше. К тому же я собирался на большой ежегодный базар в Науарике, где можно найти самые пряные приправы, самые лакомые засахаренные фрукты, самые хмельные вина, а также самые действенные лекарственные снадобья, наконец, самые пьянящие восточные благовония, смолы, бальзамы и мускусы. Для семнадцати наложниц моего гарема я приказал купить несколько буассо косметической пудры, а для самого себя — ларец, наполненный ароматическими палочками. На мой взгляд, когда я отправляю официальные обязанности — судебные или административные, а также во время религиозных церемоний, — мне подобает быть окруженным курильницами, из которых поднимается дым благовоний. Это придает величие и поражает воображение толпы, фимиам сопутствует царскому сану, как ветер солнцу.

По возвращении из Науарика, пресыщенный музыкой и яствами, я снова неожиданно увидел двух моих финикийцев, и опять мое внимание привлекла их белизна. Мы приближались к колодцам Хасси-Кефа, где собирались заночевать. К исходу жаркого дня, проведенного среди полного безлюдья, мы увидели, как множатся признаки

того, что мы приближаемся к источнику: на песке следы людей и животных, погасшие костры, пни, оставшиеся от срубленных топором деревьев, а потом и кружащиеся в небе грифы, ибо об руку с жизнью всегда идет смерть. Едва мы начали спускаться в широкую котловину, на дне которой находится Хасси-Кеф, облако пыли указало нам местонахождение колодца. Я мог бы послать моих людей вперед, чтобы очистить место для царского каравана. Время от времени меня укоряют за то, что я слишком часто отказываюсь от своих царских привилегий. Но это происходит отнюдь не из уничижения, которое и в самом деле было бы совершенно неуместным. Гордости мне хватает с лихвой — моим приближенным не раз случалось обнаруживать во мне ее переизбыток в промежутках между периодами, когда я мастерски разыгрываю доступность. Но я люблю вещи, люблю животных и людей и плохо переношу обособленность, которую налагает на меня мой сан. И в самом деле мое любопытство вечно борется с необходимостью обуздывать свои порывы и держать всех на расстоянии, как мне предписывает царское достоинство. Смешаться с толпой, бродить, наблюдать, примечая лица, движения, взгляды, — упоительная мечта, воз-

браняемая венценосцу.

Меж тем Хасси-Кеф в красноватом облаке пыли являл собой величавое зрелище. Увлекаемые движением вниз по склону, в глубь долины, длинные вереницы животных пускаются вскачь, чтобы влиться в ревущее стадо, осаждающее корыта. Верблюды и ослы, быки и бараны, козы и собаки отталкивают друг друга, топчась в грязи, где смешались навозная жижа и крошево из соломы. Вокруг животных снуют пастухи-эфиопы, тонкие, сухощавые, словно выточенные из черного дерева, — они вооружены палками или колючими ветками. Иногда они наклоняются и, взяв комок земли, бросают его в затеявших драку козлов или баранов. Терпкий запах жизни, усиленный жарой и водой, пьянит, как крепчайший спирт.

Но одно божество возвышается над всей этой толпой. Взгромоздившись на поперечную балку, переброшенную через колодезное жерло, водочерпий двигает руками словно мельничными крыльями — перехватывая веревку как можно ниже, он вытягивает ее вверх, высоко над головой, чтобы приблизить к себе наполненный водой бурдюк. Светлая жидкость мгновенным потоком изливается в корыта, тотчас превращаясь в грязь. Похудевший бурдюк свободно падает

в колодец, веревка осатанелой змеей извивается в ладонях водочерпия, и снова приходят в движение мельничные крылья рук.

Эту тяжелейшую работу часто совершает, вздыхая и стеная, тщедушное, истерзанное тело, которое норовит при первой возможности замедлить или прекратить усилия, но надсмотрщик тут как тут: с длинным хлыстом в руке он спешит подогреть всегда готовый угаснуть пыл. Однако здесь перед нами было зрелище совсем иного рода — великолепная машина из мускулов и сухожилий, статуя из светлой меди, вся в пятнах черной грязи, обливалась водой и потом, но работала без труда, в каком-то восторге, едва ли не вдохновенно; это был не столько труженик, сколько танцовщик, и когда широким движением он вытягивал веревку кверху, он запрокидывал голову к небу, встряхивая своей золотистой гривой в каком-то, я бы даже сказал, счастливом упоении.

— Кто этот человек? — спросил я у одного из своих приближенных.

Он пошел узнать и, вернувшись, напомнил мне о рынке в Баалуке и о двух купленных там молодых финикийцах.

— У него, кажется, была сестра?

Мне объяснили, что девушку отправили собирать просо. Я приказал, чтобы их воссоединили и пока что зачислили в штат дворцовой прислуги. А там поглядим.

Поглядим… Эта стандартная формула обычно означает, что приказ надлежит исполнить немедленно, хотя во имя чего его исполняют — остается неясным и как бы теряется в тумане будущего; но в данном случае формула обретала более глубокий смысл. Она означала, что я повинуюсь порыву, против которого не могу устоять, хотя он не преследует никакой цели, по крайней мере цели мне известной, ибо, может быть, двое чужеземцев участвовали в неведомых мне планах судьбы.

Дни шли за днями, я ни на мгновение не забывал о моих светлокожих рабах. В ночь накануне возвращения во дворец я вышел из шатра и один, без свиты, зашагал в степь. Вначале я брел наугад, стараясь только не менять направления, но вскоре увидел вдали свет, который принял за огонь очага, и, не зная в точности зачем, решил направить свой ночной путь к нему. Казалось, между мной и этим огоньком завязалась игра в прятки, потому что по прихоти впадин и бугорков, кустарников и камней он то исчезал, то появ-

лялся вновь, оставаясь как будто бы все таким же далеким. Наконец, когда я решил уже, что он исчез совсем, передо мной очутился вдруг старик, сгорбившийся над низким столом, на котором горел светильник. Один посреди этого бескрайнего безлюдья, он золотой нитью вышивал пару домашних туфель. Поскольку видно было, что ничто не может заставить его прервать работу, я без церемоний сел прямо против него. В этом видении, представшем предо мной среди океана черноты, все было белым: белая муслиновая чалма на голове старика, его мертвенно-бледное лицо, длинная борода, окутывавший его плащ, длинные прозрачные пальцы — все вплоть до цветка лилии, таинственно расцветшего на столе в узком хрустальном бокале. Я старался напитать свой взор, сердце, душу зрелищем этого безмятежного покоя, чтобы мыслью вернуться к нему и почерпнуть в нем опору, если когда-нибудь в мою дверь постучится страсть.

Старик долго словно бы не замечал моего присутствия. Наконец отложил свою работу и, сцепив руки на колене, взглянул на меня в упор.

— Через два часа, — сказал он, — небо на востоке окрасится в розовый цвет. Но чистое сердце уповает на приход Спасителя с такой же надеж-

дой, с какой часовой на валу ожидает восхода солнца.

Он умолк. То был торжественный час, когда вся земля, еще погруженная во мрак, затаившись, предчувствует появление первого луча зари.

— Солнце… — прошептал старик. — Пред ним все немеет, говорить о нем можно лишь в недрах ночи. С тех пор как вот уже полвека я подчиняюсь его великому и грозному закону, путь его от одного края неба до другого — единственное движение, которое я признаю. Солнце, ревнивое божество, отныне я могу поклоняться лишь тебе, но тебе ненавистна мысль! Ты не отступилось, пока не налило тяжестью все мышцы моего тела, пока не убило все порывы моего сердца, не помрачило все вспышки моего разума. Силой твоей тиранической власти я изо дня в день все больше превращаюсь в свое собственное полупрозрачное изваяние. Но я должен признать, что это окаменение — великое счастье.

Он снова умолк. Потом, словно вспомнив вдруг о моем существовании, сказал:

— Теперь ступай, уходи, пока Оно не появилось.

Я уже было встал, когда по ветвям терпентиновых деревьев пробежало благоуханное

дуновенье. И сразу после этого где-то на диво близко раздалось одинокое рыданье пастушьей флейты. Музыка влилась в меня неизъяснимой печалью.

— Что это? — спросил я.

— Это Сатана плачет, видя, как прекрасен мир, — произнес старик растроганным тоном, совсем не похожим на суровый тон его предшествующих речей. — Так бывает с теми, кто унижен, — все, что в них есть дурного, исходит сожалением при виде совершенства. Берегись тех, кто источает свет.

Он потянулся ко мне через стол, чтобы вложить мне в руку свою лилию. И я ушел, держа цветок, как свечу, между большим и указательным пальцами. Когда я добрался до нашего лагеря, золотистая полоса, пролегшая вдоль горизонта, воспламенила дюны. Во мне все так же звучало стенанье Сатаны. Я еще ни в чем не хотел себе признаться, но уже знал довольно, чтобы понять: белизна вторглась в мою жизнь и грозится ее разрушить.

* * *

Крепость Мероэ — такова эллинизированная форма египетского названия Баруа — построена

на развалинах старой цитадели фараонов из того же самого базальта. Это и есть мой дом. Здесь я родился, здесь я живу, когда не путешествую, здесь, скорее всего, и умру, и гробница, где упокоятся мои останки, уже готова. Жилище это не назовешь уютным, скорее, это броня, дополненная некрополем. Но оно защищает от солнца и от песчаных бурь, и потом, мне кажется, что оно похоже на меня самого, и, любя его, я как бы отчасти люблю в нем самого себя. Сердцевину дворца образует гигантский колодец, восходящий к эпохе величия фараонов. Вырубленный в скале, он на глубине двухсот шестидесяти футов достигает самого Нила. Посередине его перерезает площадка, куда по идущему спиралью скату могут спуститься верблюды. Они приводят в движение норию, систему ковшей, которая поднимает воду вверх до первой цистерны, а та с помощью другой системы ковшей снабжает водой большой открытый бассейн в самом дворце. Гости, восхищающиеся гигантским сооружением, часто удивляются, почему не воспользоваться этим обилием чистой воды и не украсить дворец цветами и зеленью, ибо мой дворец скуден растительностью, как пустыня. Но так уж повелось. Ни я, ни мои приближенные, ни жены моего

гарема — наверно, потому, что все мы родом из бесплодных южных краев, — не представляем себе Мероэ в садах. Но я понимаю, что чужестранца гнетет суровая дикость этих мест. Такое чувство, без сомнения, испытывали и Бильтина с Галекой, выбитые из привычной колеи и к тому же отверженные другими рабами из-за цвета своей кожи. Когда я расспрашивал о Бильтине управительницу гарема, эта нигерийка, хоть и привыкшая к пестроте рас и этнических групп, выражала одно только брезгливое отвращение. С бесцеремонностью старухи, знавшей меня еще ребенком и наставлявшей меня в моих первых любовных подвигах, она осыпала вновь прибывшую насмешками, за которыми угадывался едва скрываемый недоуменный упрек: зачем, зачем ты притащил сюда эту тварь? Она в подробностях описывала бесцветную кожу девушки, сквозь которую кое-где просвечивали сиреневые жилки, ее длинный узкий и острый нос, широкие торчащие уши, пушок на предплечьях и икрах и прочие изъяны, коими народы с черной кожей оправдывают отвращение, внушаемое им белыми.

— Да и вообще, — заключила старуха, — белые называют себя белыми, но они лгут. На самом деле они не белые, они розовые, розовые, как

свиньи! И они воняют!

Мне был понятен этот перечень обвинений: народ с черной матовой кожей, с широким приплюснутым носом, крошечными ушами и безволосым телом, народ, полагающий, что у людей может быть только два надежных, лишенных тайны запаха: один — запах тех, кто питается просом, другой — тех, кто питается маниокой, выражал в них свою нелюбовь к чужеземцам. Я понимал эту нелюбовь, потому что ее разделял, и к любопытству, пробуждаемому во мне Бильтиной, без сомнения, примешивалась известная наследственная брезгливость. Я усадил старуху рядом с собой и доверительным, свойским тоном, который должен был ей польстить, напомнив мои молодые годы, когда она посвящала меня в таинства любви, спросил:

— Добрая моя Каллаха, есть один вопрос, какой я задавал себе с самого детства, но так и не сумел на него ответить. А ты наверняка знаешь ответ.

— Ну что ж, спрашивай, мой мальчик, — сказала она добродушно, хотя и недоверчиво.

— Слушай же! Речь о белокожих женщинах — я всегда хотел узнать, какого цвета волосы в трех местах на их теле. Что они, такие же белокурые, как на голове, или черные, как у наших женщин?

А может, еще какого-нибудь цвета? Скажи мне, ведь при тебе раздевали чужестранку.

Каллаха, вновь поддавшись гневу, порывисто вскочила.

— Слишком много вопросов ты задаешь об этой твари! Можно подумать, что она тебя очень занимает. Уж не хочешь ли ты, чтобы я тебе ее прислала, тогда ты во всем удостоверишься сам.

Старуха чересчур много себе позволяла. Пора было призвать ее к порядку. Я встал и уже совсем другим тоном приказал:

— Ты права! Отличная мысль! Приготовь ее, и пусть она будет здесь через два часа после захода солнца.

Каллаха поклонилась и, пятясь, вышла.

Да, белизна вошла в мою жизнь. Словно бы в то весеннее утро, когда я бродил по рынку рабов в Баалуке, я подхватил какую-то болезнь. И когда умащенную притираниями и благовониями Бильтину привели в мои покои, она лишь воплотила собой этот поворот моей судьбы. Вначале я был просто под впечатлением света, который она, казалось, источает в сумрачных стенах моего дворца. В этом темном жилище Бильтина сверкала, точно золотая статуэтка, помещенная в ларец из черного дерева.

Она без церемоний уселась против меня, прикрыв руками наготу. Я пожирал ее взглядом. И вспоминал злобные колкости, только что услышанные от Каллахи. Старуха упоминала о пушке на предплечьях рабыни; и в самом деле, в трепещущем свете факелов ее обнаженные руки так и искрились огненными блестками. Но уши ее были скрыты длинными распущенными волосами, а тонкий нос придавал лицу выражение дерзкой смышлености. Что до запаха, то я раздувал ноздри, чтобы его уловить, скорее из гурманства, нежели из желания проверить старый поклеп, повторенный Каллахой насчет белых. Так мы довольно долго разглядывали друг друга — белая рабыня и черный господин. Я со сладким ужасом ощущал, как мой интерес к этой странной расе сменяется нежностью и страстью. Белизна овладевала моей жизнью…

Наконец я выговорил слова, которые были бы куда уместнее в ее устах, нежели в моих, если бы рабы имели право задавать вопросы:

— Чего ты от меня хочешь?

Неподобающий, опасный вопрос, ведь Бильтина могла подумать, что я осведомляюсь о том, сколько я должен за нее заплатить, хотя она уже принадлежала мне, и, очевидно, она так и поняла

меня, потому что ответила сразу:

— Моего брата Галеку. Где он? Мы двое — дети Севера, затерянные в африканских пустынях. Не разлучай нас! Я сумею тебя отблагодарить!

На другой же день брат и сестра воссоединились. Но зато мне пришлось столкнуться с молчаливой враждебностью всего мероитского дворца, и Каллаха, несомненно, была среди первых, кто осудил непонятную милость, оказанную мной двум белым рабам. Каждый день я придумывал какой-нибудь предлог, чтобы видеть их. Мы то плыли под парусом по водам Атбары, то навещали город мертвых Бегерауэх, то смотрели верблюжьи состязания в беге в Гуз-Реджебе или просто сидели на высокой террасе дворца, и Бильтина пела финикийские песни, аккомпанируя себе на цитре.

Мало-помалу я стал смотреть на брата и сестру другими глазами. Ослепление их одинаковой белизной сменилось привычкой. Внимательно разглядев их, я стал замечать, как мало они похожи друг на друга, несмотря на принадлежность к одной расе. Но главное — я все больше восхищался лучезарной красотой Бильтины, и сердце мое проникалось унынием, словно чем прекраснее она мне казалась, тем безобразнее

обречен был становиться я сам. Я все мрачнел, делался все более раздражительным и желчным. А все потому, что я видел себя теперь другими глазами: я считал себя грубой скотиной, неспособной внушать дружеские чувства, восхищение, а о любви и говорить нечего. Что скрывать, я начинал ненавидеть свою чернокожесть. Тут-то мне и вспомнились слова мудреца с лилией: эта душераздирающая музыка — плач Сатаны, который видит, как прекрасен мир. Я чувствовал себя жалким негром и плакал, видя, как прекрасна белая женщина. Любовь привела к тому, что в душе я предал свой народ.

Между тем у меня не было причин жаловаться на Бильтину. С тех пор как ее брат стал принимать участие в наших вылазках и развлечениях, лучшей подруги в радостях жизни нельзя было и желать. Она расточала мне нежности, а я хмелел от счастья и навсегда сохраню чарующее воспоминание о них, каким бы горьким ни было похмелье. Само собой, я ни минуты не сомневался в том, что Бильтина станет моей наложницей. Рабыня не смеет противиться желаниям своего господина, в особенности когда он царь. Но я оттягивал эту минуту, мне хотелось еще и еще любоваться ею, следя за тем, как меняется мое

к ней отношение. Любопытство, возбужденное существом с непривычным обликом, которое тебя будоражит и чем-то смутно отталкивает, сменилось неутолимой плотской жаждой, сравнимой только с томительным, молящим голодом наркомана, оставшегося без зелья. Но в моей любви большую роль играла также прелесть неизведанного, которой меня манила Бильтина. В сумрачном дворце из базальта и черного дерева африканские женщины моего гарема сливались со стенами и предметами обстановки. Более того, тела этих женщин с их четкими и совершенными формами были как бы сродни той материи, из которой создано окружающее. Можно было подумать, что они выточены из красного дерева, вырезаны из обсидиана. В Бильтине я как бы впервые в жизни открывал для себя плоть. Белизна и розовость кожи наделяли ее несравненным даром наготы. Бесстыжая — таков был беспощадный приговор, произнесенный устами Каллахи. Я был согласен со старухой, но это-то больше всего и привлекало меня в моей рабыне. Негр, даже сбросивший с себя одежду, все равно одет. Бильтина, закутанная до самых глаз, всегда была обнажена. Скажу больше, африканское тело в особенности красят яркие одежды, массивные

золотые украшения, драгоценные камни, но те же самые предметы на теле Бильтины казались тяжелыми, чужеродными, они как бы противоречили ее призванию к совершенной наготе.

Наступил Праздник Опыления финиковых пальм. Поскольку цветение пальм приходится на конец зимы, причем мужские особи расцветают на несколько дней раньше женских, опыление происходит в самый разгар весны. Пальмы мужского пола рассеивают по воздуху пыльцу, но, так как на одну мужскую особь в пальмовых рощах приходится двадцать пять женских (в точности как в гареме, где двадцать пять жен принадлежат одному господину), здесь необходимо вмешательство человеческих рук. Впрочем, обязанность отломить мужскую ветвь, взмахнуть ею по направлению четырех сторон света над женским соцветием и потом поместить ее в самую его сердцевину лежит только на женатых мужчинах. А молодежь поет и танцует под деревьями, где трудятся опылители. Празднества длятся ровно столько времени, сколько длится опыление, и по традиции в эту пору молодые пары обручаются, а свадьбы происходят полгода спустя во время Праздника Урожая. Ритуальное блюдо на Празднике Опыления — маринованное

бедро антилопы с трюфелями, кушанье острое и пряное, куда добавляют стручковый перец, корицу, тмин, гвоздику, имбирь, мускатный орех и зерна кардамона.

Мы не преминули смешаться с праздничной толпой, которая пила, ела и плясала в обширных пальмовых зарослях Мероэ. Бильтина захотела присоединиться к группе танцовщиц. Она старалась, как могла, подражать сдержанному покачиванию тела, при котором голова остается совершенно неподвижной, а ноги делают крохотные шажки, что придает женскому танцу в Мероэ ритуальную величавость. Сознавала ли Бильтина, как сознавал это я, насколько чужеродной выглядит она в этой толпе девушек с туго заплетенными в косички волосами, со щеками в надрезах, девушек, на которых наложены строгие ограничения в пище? Наверно, сознавала на свой лад, потому что видно было, как мучительно ей подчинять себя танцу, минимумом движений выражающему весь пыл африканских страстей.

Тем более приятно мне было видеть, что она с аппетитом ест поданное на ужин бедро антилопы, сначала воздав должное закускам, которые по традиции подаются перед этим блюдом, — салату из цветущего эстрагона, колибри на маленьких

вертелах, щенячьим мозгам с гарниром из кабачков, жареным зуйкам в виноградных листьях, соте из бараньих щек, губ и подбородков, а также хвостам ягнят, которые представляют собой просто-напросто мешки с салом. При этом рекой текли пальмовое вино и рисовая водка. Меня восхищало, что Бильтина, за обе щеки уписывая всю эту снедь, остается изящной, грациозной, соблазнительной. Любая другая обитательница моего дворца считала бы своим долгом едва отведать угощенье. Бильтина же с такой юной радостью отдавалась своему хорошему аппетиту, что невольно заражала им других. Так что и я на какое-то мгновенье тоже предался гурманству, но только на мгновенье, потому что, по мере того как время шло и ночь сменялась предрассветным сумраком, плач Сатаны снова вливался в мое сердце, а в мысли закрадывалось подозрение: не оттого ли глушит себя яствами и хмельными напитками Бильтина, что знает: еще до восхода солнца ей суждено разделить со мной ложе? Может, ей надо опьянеть, отупеть, чтобы перенести близость негра?

Рабы-нубийцы стали выносить грязную посуду и остатки ужина, когда я заметил, что Галека исчез. Это проявление деликатности с его сто-

роны — не было сомнения, однако, что тут не обошлось без решающего вмешательства Бильтины, — тронуло меня и вернуло мне уверенность в себе. Я тоже удалился, чтобы умастить себя благовониями и сбросить доспехи и царские украшения. Когда я снова приблизился к шкурам и подушкам, в беспорядке громоздившимся на террасе дворца, Бильтина уже лежала на них, скрестив руки и с улыбкой глядя на меня. Я лег рядом с ней, я обнял ее и вскоре познал все тайны белизны. Но отчего, чтобы видеть ее тело, я должен был обнажить свое? Моя рука на ее плече, моя голова на ее груди, мои ноги меж ее ног — слоновая кость и смола! Едва завершив свои любовные труды, я погрузился в мрачное созерцание этого контраста.

А она? Что чувствовала она? Что думала? Я не замедлил это узнать! Бильтина вдруг вырвалась из моих объятий, бросилась к перилам выходящей в сад террасы, перегнулась через них, и тело ее стали сотрясать конвульсии и рвота. Наконец она возвратилась ко мне — очень бледная, осунувшаяся, с кругами под запавшими глазами. Она тихонько вытянулась на спине — ни дать ни взять надгробие.

— Жаркое не пошло мне впрок, — просто ска-

зала она. — Бедро антилопы, а может, хвост ягненка.

Но меня ей обмануть не удалось. Я знал, что не антилопа и не ягненок вызвали рвоту и отвращение у женщины, которую я любил. Я встал и, убитый горем, удалился в свои покои.

До сих пор я мало говорил о Галеке, потому что все мои помыслы поглощала Бильтина. Но в смятении своем я потянулся к юноше, как бы к иной ипостаси его сестры, той ипостаси, что не могла причинить мне страданий, как бы к своего рода невинному наперснику. Да и разве не эту роль играют обычно братья и зятья? Если бы я искренне желал, чтобы он отвратил меня от Бильтины, я был бы разочарован. Мне и в самом деле показалось, что он живет в тени сестры, во всем полагаясь на ее суждения и решения. Удивил он меня и тем, как мало привязан он к своей финикийской родине. По его рассказам, они направлялись из своего родного города Библа в Сицилию, где живут их родственники, ибо финикийские обычаи требуют, чтобы молодежь уезжала из дома, обогащая свой жизненный опыт прихотями странствий. Для Бильтины и Галеки приключения начались на восьмой день плаванья, когда их корабль захватили пираты.

Рыночная цена их молодости и красоты спасла им жизнь. Их высадили на берег неподалеку от Александрии и погнали пешими в караване, двигавшемся на юг. Они не слишком страдали в пути, потому что хозяева щадили пленников, стремясь сберечь их привлекательную внешность. Обаяние детей и зверят возмещает им их физическую слабость и охраняет от врагов. Красота женщины и юношеская свежесть мужчины — оружие не менее действенное. Я убедился в этом на собственном печальном опыте: никакая армия не могла бы осадить и сокрушить меня так, как эти двое рабов…

Я не удержался от вопроса, который сначала удивил, а потом насмешил Галеку: все ли жители Финикии белокуры? Он улыбнулся. Вовсе нет, ответил он. Есть среди них черноволосые, есть люди с волосами каштанового цвета — темного и светлого оттенка. Есть и рыжие. Потом он сдвинул брови, словно впервые постиг новую для себя истину, постичь которую нелегко. Если вдуматься, сказал он, получается, что самые темные волосы, черные-пречерные, и к тому же курчавые — у рабов, а среди людей свободных кожа тем белее, а волосы тем светлее, чем выше их положение в обществе, так что самые богатые люди

соперничают в этом отношении с аристократией. И Галека рассмеялся, хотя за подобные слова, обращенные к чернокожему царю, белокурого раба следовало бы казнить, посадив на кол или распяв на кресте! Против воли я восхищался легкостью, с какой он рассуждал и с какой, судя по всему, принимал все, что с ним происходило. Выехав свободным и богатым из Библа, чтобы погостить у родных, он стал фаворитом африканского царя, перед этим проделав путь через пустыню с веревкой раба на шее. Понимает ли он, что мне довольно щелкнуть пальцами, чтобы голова его упала с плеч? Но могу ли я это сделать? Не значит ли это тотчас потерять Бильтину? Но разве она не потеряна уже для меня? О горе! «Рабыня я, но у меня белая кожа!» — могла бы сказать она.

Я должен наконец решиться и описать сцену, которая произошла между нами и которая могла бы подтвердить, будь в этом необходимость, сколь глубока была моя печаль и смятение.

Я уже упоминал о том, как обычно использую курильницы, чтобы усугубить торжественность официальных церемоний, где появляюсь украшенный самыми почитаемыми атрибутами царственности. Я упоминал также, что с рынка в Науарике я привез ларец, доверху наполненный

ароматическими палочками. Тот, кто почитает себя вольнодумцем, порой легкомысленно играет вещами, символический смысл которых превосходит его разумение. Бывает, он дорого за это расплачивается. Мне пришла в голову пошлая мысль использовать фимиам для придания большей прелести увеселениям, которым мы втроем — Бильтина, ее брат и я — иногда предавались по ночам. Клянусь, что вначале речь шла просто о том, чтобы пропитать благовониями мои покои, где частенько бывало душно и пахло остатками минувшего пиршества. Но беда в том, что фимиам не так легко обмирщить. Его куренье приглушает свет и населяет пространство неосязаемыми образами. А аромат навевает мечты и раздумья. Да и то, как он сгорает в огне, наводит на мысль об алтаре, об искупительной жертве. Словом, хочешь ты этого или нет, фимиам создает атмосферу культа, благочестия.

Вначале нам удалось не почувствовать этого, потому что, не без влияния горячительных напитков, мы предавались довольно грубым проделкам. Бильтине пришло в голову, что мы с нею можем поменяться цветом кожи, и, зачернив себе лицо копотью, она намазала мое белой глиной. Так мы дурачились полночи. Но с

наступлением того тоскливого часа, когда минувший день уже умер, а новый еще не народился, наша безмятежная веселость угасла. Вот тогда-то облака фимиама и придали нашему шутовству зловещий вид пляски смерти. Друг перед другом оказались набеленный негр и выкрашенная черным белая женщина, а третий мошенник, сделавшийся служкой этого гротескного богослужения, важно раскачивал у их ног курящееся кадило.

Я любил Бильтину, а влюбленные не скупятся на такие слова, как «обожать», «боготворить», «поклоняться». Им надо прощать — они не ведают, что говорят. С той ночи я понял все, однако, чтобы меня вразумить, понадобились эти две карнавальные фигуры, окутанные клубами благоуханного дыма. Никогда еще плач Сатаны не раздирал мне сердце с такой силой. Это был долгий безмолвный вопль, не затихавший во мне, воззвание к чему-то иному, прорыв к другим горизонтам. Это вовсе не означает, что я стал пренебрегать Бильтиной, отвернулся от нее. Наоборот, я чувствовал себя близким к ней, как никогда прежде, но это было новое чувство — какое-то братство в падении, жгучая жалость, пылкое сострадание, которое влекло меня к ней

и звало увлечь ее за собой. Бедная Бильтина, такая слабая, хрупкая, несмотря на свое детское двоедушие, посреди царского двора, где все ее так ненавидят!

Вскоре я получил страшное доказательство этой ненависти, и представил мне его, конечно, не кто иной, как Каллаха.

Ее многолетняя служба при мне и должность управительницы гарема позволяли ей входить в мои покои в любое время дня и ночи. И вот однажды в разгар моей бессонницы Каллаха явилась ко мне в сопровождении евнуха, несшего факел. Она была страшно возбуждена и с трудом подавляла торжествующую радость. Но придворный этикет возбранял ей начинать разговор первой, а я не хотел торопить катастрофу, неизбежность которой уже предчувствовал.

Я встал, накинул ночной халат и стал чистить зубы, не обращая никакого внимания на старуху, сгоравшую от нетерпения. Наконец, взбив подушки, я снова растянулся на них и небрежно спросил: «Ну, Каллаха, что нового в гареме?» Потому что, само собой, я не разрешал ей обсуждать другие вопросы. «Твои финикийцы!» — воскликнула она. Будто я не понимал с первой минуты ее появления, что речь пойдет именно о них.

— Твои финикийцы! Они такие же брат и сестра, как я и вот он! — И она коснулась плеча евнуха.

— С чего ты взяла?

— Если ты мне не веришь, пойдем со мной. Увидишь сам, в какие братские игры они играют!

Я тотчас вскочил. Вот оно что! Мутная тоска, снедавшая меня все последние недели, сменилась смертоносным гневом. Я накинул на плечи бурнус. Каллаха, не ожидавшая от меня такой вспышки ярости, в ужасе попятилась к двери.

— Идем, старая карга. Веди!

Дальнейшее разыгралось с невесомой стремительностью кошмара. Любовники застигнуты в объятиях друг друга, вызвана стража, юношу тащат в подземелье, Бильтина, прекрасная как никогда, в озарении счастья, которое теперь рухнуло, Бильтина в слезах и в наготе, прикрытой только длинными распущенными волосами, единственной ее одеждой, желанная, как никогда, заточена в темницу площадью шесть шагов на шесть, Каллаха исчезла, ибо она, стреляная птица, по опыту знает, что в такие минуты лучше не попадаться мне на глаза, а я оказался вдруг в жутком одиночестве среди ночи, такой же черной, как моя кожа и глубины моей души.

Наверно, я бы заплакал, не знай я, как мало подходят слезы негру.

Были ли Бильтина и Галека братом и сестрой? Вряд ли. Я уже отмечал, что их физическое сходство, вначале не вызывавшее у меня сомнений, стало исчезать в моих глазах по мере того, как под тождеством расы все резче проступали индивидуальные черты. Что побудило их лгать, объяснить нетрудно: выдав своего любовника (или мужа) за брата, финикийка уберегала его от моей ревности, открывая перед ним возможность делить с ней милости, какими я ее осыпал. Из осторожности им следовало бы соблюдать особенную сдержанность в отношениях друг с другом. То, что они повели себя так дерзко, меня бесило — стало быть, зная, сколько шпионов их окружает, они готовы были бросить мне вызов! — но в то же время их легкомыслие, их смелость удивляли и даже трогали меня. Что касается родственных уз — не все ли мне равно, вправду или нет они брат и сестра. Фараоны Верхнего Египта, которые не так уж далеки от меня во времени и в пространстве, женились на своих сестрах, стремясь обеспечить потомкам чистоту крови. Для меня союз Бильтины и Галеки — это союз подобных. Белокурая и белокурый тянутся, льнут

друг к другу, а чернокожего отбрасывают прочь в окружающий мрак. Вот единственное, что имеет для меня значение.

В последующие дни мне пришлось выдержать молчаливый или завуалированный нажим моего окружения, которое побуждало меня покончить с виновниками. Многого ли стоит в глазах царя жизнь двух впавших в немилость рабов? Но, несмотря на мой возраст, мне достало мудрости понять: для меня главное не совершить правосудие, ни даже отомстить, но залечить рану, меня терзающую. А стало быть, я должен действовать исходя из разумного эгоизма. Если я предам смерти, мучительной или мгновенной, одного из двух финикийцев — но которого? — или обоих сразу, утешит ли это мое горе? Вот единственный важный для меня вопрос, но никто из тех, кто вокруг меня испускает вопли ненависти, не способен на него ответить.

И снова, в который раз, самую мудрую поддержку оказал мне мой астролог Барка Май.

Я бродил по террасе, с угрюмым удовлетворением размышляя о том, что чернота моей души пуста, а чернота ночного неба переливается звездами, когда он явился ко мне, чтобы сообщить важную, по его словам, новость.

— Это будет нынче ночью, — уточнил он таинственно.

Я уже забыл о нашем предыдущем разговоре. Я не понял, что он имеет в виду.

— Комета, — напомнил он. — Волосатая звезда. На исходе нынешней ночи ее можно будет увидеть с этой террасы.

Звезда с золотыми волосами! Теперь я вспомнил, что Барка Май предсказал мне ее появление, когда Бильтина еще не вошла в мою жизнь. Славный Барка! Его необыкновенное ясновидение меня восхищало! Но главное — он вдруг придал жалкому обману, жертвой которого я стал, небесные масштабы. Конечно, меня предали. Но мое горе обладало царственным весом и размахом — отзвуки его отдавались даже в небесах! У меня отлегло от души. Флейта Сатаны могла умолкнуть.

— Что ж, — сказал я. — Будем вместе ждать ее появления.

Звезда заявила о себе едва заметным, похожим на слабые вспышки зарниц мерцаньем над холмами, окаймляющими горизонт с юга, — и первым заметил ее Барка, указавший мне на свеченье, которое я мог бы принять за сияние какой-нибудь планеты.

— Это она, — сказал он. — Она движется от истоков Нила к его устью.

— Но ведь Бильтина, — возразил я, — явилась с северных берегов Средиземноморья и пришла сюда через пустыню.

— При чем здесь Бильтина? — удивленно спросил Барка и при этом лукаво улыбнулся.

— Но разве ты не сказал, что у этой звезды белокурые волосы?

— Золотые. Я говорил о золотых волосах.

— Ну и что ж! Когда Бильтина распускала свои волосы и встряхивала ими и они рассыпались по плечам или по подушке, я, который до сих пор знал только черные, круглые и курчавые головы наших женщин, дотрагивался до ее волос, пересыпая их из одной руки в другую, и удивлялся тому, что тяга к желтому металлу, жажда приобрести его, преобразившись, может слиться с любовью к женщине. Так же, как и запах. Ты ведь знаешь пословицу, гласящую, что золото не пахнет. Она означает, что прибыль можно извлекать из самых нечистых источников, хотя бы из лупанариев и отхожих мест, — царская сокровищница от этого вовсе не станет зловонной. Очень удобная, но и опасная мудрость, потому что самые гнусные преступления как бы искупа-

ются прибылью, какую из них можно извлечь. Не раз, высыпав из ларца к своим ногам золотые монеты, я набирал их полными горстями и подносил к носу. Ничего! Они не пахли. Руки и карманы, в которые их привели грязные сделки, предательства, убийства, не оставили на деньгах своего запаха. Зато золото волос Бильтины!.. Тебе знакомы маленькие душистые злаки, растущие в расселинах скал…

— Право же, господин мой Каспар, эта женщина слишком занимает твои мысли! Взгляни же сейчас на светловолосую комету. Она приближается, она пляшет на черном небе как лучезарная танцовщица. Может быть, это Бильтина. Но может быть, и кто-то другой, ведь на свете не одно светловолосое существо. Комета пришла с юга и направляет свой причудливый бег к северу. Поверь мне, следуй за ней. Собирайся в путь! Путешествие — лучшее лекарство от снедающей тебя болезни. Всякое путешествие — это череда неисцелимых расставаний, справедливо сказал поэт. [2] Езжай же, пройди лечение расставаньями, это пойдет тебе только на пользу. Лучезарная танцовщица встряхивала волосами над пальмо-

---

[2] Примечания: 2
Поль Низан.

вой рощей. Да, она делала мне знак следовать за ней. Что ж, я поеду. Бильтину и ее брата я поручу моему главному управителю, предупредив его, что, когда я вернусь, он жизнью своей ответит за их жизнь. Я спущусь по течению Нила к холодному морю, где ходят на кораблях мужчины и женщины с золотыми волосами. А Барка Май поедет со мной. В наказание и в награду!

* * *

Приготовления к отъезду взбодрили меня так, словно я прошел курс омоложения и физической тренировки. По словам поэта,[3] стоячая вода, неподвижная и безжизненная, неизбежно мутнеет и начинает горчить. Зато живая, звонкая вода остается чистой и прозрачной. Так и душа того, кто ведет оседлый образ жизни, подобна болоту, где загнивают вновь и вновь пережевываемые обиды. А из души путешественника бьет чистый родник свежих мыслей и нежданных деяний.

Не столько по необходимости, сколько ради удовольствия я сам надзирал за тем, как идут сборы нашего каравана, который должен был быть небольшим — не более пятидесяти верблюдов, —

---

[3] Примечания: 3
Мухаммада Асада

но участники его, как люди, так и животные, неутомимы, ибо путь наш был неопределенен и далек. Кстати, мне не хотелось брать с собой в дорогу моих приближенных и рабов, ничего им не объяснив. Поэтому я объявил им, что направляюсь с официальным визитом к одному из великих белых царей на восточном побережье, и почти наобум назвал имя Ирода, царя Иудеи, столица которой — город Иерусалим. Щепетильность моя была излишней. Меня слушали вполуха. Для всех этих кочевников, страдающих от обретенной оседлости, любое путешествие всегда самоцель и не нуждается в оправданиях. Куда мы держим путь, им было безразлично. По-моему, они уяснили только одно: мы едем далеко, а стало быть, надолго. Этого было за глаза довольно, чтобы привести их в восторг. Даже Барка Май, казалось, примирился с неизбежностью. В конце концов, несмотря на свой преклонный возраст и скептицизм, он не мог не рассчитывать на то, что путешествие подарит ему новые впечатления и обогатит его ученость.

Для выезда из Мероэ я вынужден был использовать большой царский паланкин из красной, расшитой золотом шерсти, увенчанный деревянной стрелой, на которой развеваются зеленые

флаги с султаном из страусовых перьев. От главных ворот дворца до последней пальмы — дальше начинается пустыня — народ Мероэ приветствовал своего государя и оплакивал его отъезд, и, так как у нас во всех случаях жизни дело не обходится без танцев и музыки, вокруг неистовствовали трещотки, систры, цимбалы, самбуки, псалтерии. Мое царское достоинство не позволяет мне покидать мою столицу с меньшей помпой. Но как только мы преодолели эту часть пути, я приказал убрать роскошный паланкин, в котором весь день задыхался, и, сменив сбрую, сел в свое походное седло — легкий каркас, обтянутый овечьей кожей.

Вечером я решил до конца отпраздновать этот первый день освобождения, а для этого мне надо было побыть одному. Мои приближенные давно уже смирились с такого рода причудами, поэтому никто не пытался следовать за мной, когда я стал удаляться от рощицы сикоморов, где был разбит наш лагерь. Во внезапной прохладе угасавшего дня я в полной мере наслаждался ловкой иноходью моей верблюдицы. Эта мерная поступь — две правые ноги одновременно делают шаг вперед, а весь корпус животного клонится влево, потом в свою очередь вперед шагают две левые ноги,

а корпус откидывается вправо, — свойственная верблюдам, львам, слонам, благоприятствует метафизическим раздумьям, тогда как диагональное движение лошадей и собак порождает лишь убогие мысли и низменные расчеты. О счастье! Одиночество, столь горько и унизительно ощущавшееся мною во дворце, посреди пустыни наполнило меня блаженным восторгом!

Верблюдица, у которой я отпустил поводья, устремила свой свободный бег в сторону заката, на самом деле, однако, направляя его по многочисленным следам, не сразу мною замеченным. Внезапно она остановилась возле отвалов земли у небольшого колодца, из него торчал ствол пальмы, испещренный насечками. Я склонился над черным зеркалом и увидел в нем свое отражение. Искушение было слишком велико. Раздевшись догола, я по стволу пальмы спустился в колодец. Вода доходила мне до пояса, а щиколотки ощущали прохладные толчки невидимого источника. Под чарующей лаской волн я погрузился в воду по грудь, потом до подбородка, потом до самых глаз. Над головой я видел круглое отверстие колодца и диск фосфоресцирующего неба, где мигала первая звезда. Порыв ветра пронесся над колодцем, и я услышал, как воздушная колонна

в его чреве загудела, словно в трубке гигантской флейты, — нежная нутряная музыка, творимая землей вместе с ночным ветром, которую я по чудовищной нескромности подслушал.

Дни шли, часы пути сменялись новыми часами пути, растрескавшаяся красная земля — песчаным щетинящимся колючками эргом, каменистые просторы, поросшие желтой травой, — сверкающими соляными болотами; казалось, мы странствуем в вечности, и лишь немногие из нас могли бы сказать, давно ли мы покинули Мероэ. Это тоже свойство путешествий: время текло одновременно и гораздо медленнее обычного, подчиняясь небрежной иноходи наших верблюдов, и гораздо быстрее, чем дома, где многообразие занятий и встреч рождало сложное прошлое, сплетенное из сменявшихся планов, намерений, разнохарактерных обстоятельств.

Мы жили в основном под знаком животных, и, конечно, в первую очередь под знаком наших верблюдов, без которых мы бы погибли. Нас очень встревожила настигшая их и вызванная изобилием жирной травы желудочная эпидемия, когда между худыми ляжками четвероногих потекла зеленая жижа. А однажды нам пришлось напоить их силой, потому что предстоял трех-

дневный переход, а в единственном источнике, каким можно было воспользоваться, вода была прозрачной, но горчила от едкого натра. Трех верблюдиц, силы которых истощились, пришлось зарезать, прежде чем они превратились в ходячих скелетов. Это стало поводом для кутежа; я принял в нем участие скорее из солидарности, чем из гурманства. По традиции мозговые кости были сложены в карманы верблюжьих желудков; желудки, зарытые под очагом, на другой день наполняются кровавой похлебкой, любимым лакомством обитателей пустыни. Но зато теперь молока у нас стало гораздо меньше.

Мы незаметно приближались к Нилу, и, когда он внезапно открылся перед нами, огромный и синий, заросший по берегам папирусами, зонтики которых с шелковистым шелестом льнули друг к другу под порывами ветра, сердце у нас екнуло. В илистой бухточке лежал на спине гиппопотам с распоротым брюхом, его короткие ноги торчали кверху, внутренности вывалились наружу. Мы подошли ближе и увидели, как из этой полости вылезает маленький голый мальчонка — красная от крови статуэтка, — белыми оставались только зубы и белки глаз. С веселым смехом он протянул нам потроха животного и

куски мяса.

Фивы. Мы переправились на другой берег, чтобы смешаться с толпой этой древней египетской метрополии. И напрасно. По мере того как мы продвигались на север, кожа местных жителей светлела. Я пытался заранее представить себе, как мы, негры, станем вдруг выделяться пятном на фоне белых людей, — привычный образ мира будет вывернут наизнанку, хотя это и трудно вообразить: вместо белого на фоне черного черное на фоне белого.

Пока еще до этого далеко, и все же я затрепетал, увидя белокурые головы в толпе у порта. Может, это финикийцы? Да, мы пришли сюда напрасно, потому что при соприкосновении с людьми раны мои открылись. Моему уязвленному сердцу привольно только в пустыне. Я вздохнул с облегчением, когда мы вновь оказались в тишине левого берега, где два Мемнонских колосса охраняют гробницы царей и цариц. Я долго шел по берегу реки, глядя, как удят рыбу священные соколы, символизирующие образ Гора, сына Осириса и Исиды, победившего Сета. Клюв у этих великолепных птиц слишком короткий, чтобы им можно было поймать рыбу. Поэтому они ловят ее когтями. Метеоритами падая на поверхность во-

ды, они вдруг, в последнюю минуту, выпрямляют свои когтистые лапы, нацелив их в появившуюся в реке жертву. Они когтят зеркало воды, тут же взмывают вверх, размахивая крыльями, и на лету терзают клювом рыбу, зажатую в когтях. Египтяне более других народов были поражены божественной простотой тела этих птиц, с таким совершенством приспособленного к потребностям природы. Право же, все это оправдывает культ. Божественный Гор, подари мне наивную силу и дикую красоту символизирующей тебя птицы!

Пленившись тихими, прозрачными водами реки, мы разбили свой лагерь прямо на ее высоком левом берегу. Барка Май одним из первых подметил горькую складку моих губ и печальное выражение глаз. Он понял, что мое радужное настроение, вызванное отъездом, улетучилось. В молчании поглощали мы рагу из крупных коричневых бобов с жареным луком и тмином, которое, кажется, считается в этих местах национальным блюдом. Поскольку аппетит у меня пропал, еда показалась мне особенно безвкусной, и я заметил по этому случаю, что чем дальше к северу мы поднимаемся, тем более пресной становится пища; эту истину опровергли потом

только маринованные кузнечики, поднесенные нам в Иудее. Сказав это, я погрузился в созерцание водоворотов и взвихрений, которыми рябило ленивое течение реки.

— Ты печален как сама смерть, — сказал мне Барка. — Перестань глядеть на сине-зеленые воды. Обрати свои взоры к Горе Царей. Спроси совета у двух колоссов, охраняющих некрополь Аменхотепа. Ступай, они тебя ждут!

Чтобы заставить человека подчиниться — будь он даже сам царь, — достаточно приказать ему сделать то, чего он сам жаждет в глубине души. Я уже видел издали этих двух стоящих бок о бок гигантов и тогда же почувствовал желание поручить себя грозному покровительству этих великолепных фигур. От статуй высотой в десять человеческих ростов веет безмятежностью, отчасти, наверно, благодаря их позам: они чинно сидят, положив руки на сжатые колени. Сначала я обошел статуи вокруг, потом вступил в город мертвых, который они охраняют. От усыпальницы Аменхотепа сохранились только две колонны, капители и лестницы, таинственно обрывающиеся в полете, загадочные глыбы. Но под этим хаосом скрывается упорядоченная чернота могил и стел. Наверху — беспорядок, который

продолжает быть связанным с жизнью и людьми, а внизу невозмутимо тикают часы богов. Мы знаем наверняка, что время работает на них и скоро пустыня поглотит эти руины. И однако колоссы не дремлют… Я захотел уподобиться им. Завернувшись в свой бурнус, я уселся у ног северного колосса. Часть ночи я дублировал своим маленьким жалким земным бдением вечное бдение каменного гиганта. Потом погрузился в забытье.

Меня разбудили крики ребенка. Так я по крайней мере подумал вначале. Мне послышался жалобный детский голосок. Откуда он раздавался? Казалось, откуда-то сверху, может быть с неба, а вернее всего — от маленькой, покрытой клафтом головы Мемнона. Иногда вдруг чудилось, что это песня, потому что в ней звучали нежные переливы и восторженный детский щебет. Можно было подумать, что это младенец млеет от материнской ласки.

Я встал. При тусклом свете зари пустыня и гробницы казались еще более скорбными, чем накануне вечером. Однако на востоке, по ту сторону Нила, небо рассекала пурпурная расщелина, и оранжевый блик падал на каменную грудь моего колосса. И тут я вспомнил легенду, которую мне рассказывали, но которая казалась

мне неправдоподобной. Мемнон был сыном Эос и Тифона, египетского царя, который послал его на помощь осажденной Трое. Там Мемнон был убит Ахиллом. С тех пор каждое утро Эос омывает слезами росы и озаряет лучами любви изваяние сына, и оживший колосс умиленно поет, согретый материнской лаской. При этом нежном взаимном обретении я и присутствовал, и меня переполнил странный восторг.

Вот уже во второй раз я убеждался, что истинным лекарством от несчастной любви может быть только величие. Пошлые обиды, низкая мстительность, мелочная досада и злоба только усугубляют горе. Комета, это небесное воплощение Бильтины, первая вырвала меня из моего унылого затворничества, направив мой путь в пустыню. А нынче утром я стал свидетелем материнского горя, поднявшегося до величавых высот, я услышал излияния материнских чувств занимающейся зари и сыновних — каменного колосса с младенческим голосом. И сам я царь! Как же мне не понять этого дивного урока? Я покраснел от гнева и стыда при мысли о падении, до которого дошел, когда с отчаянием вопрошал себя, что было причиной рвоты какой-то рабыни — бедро антилопы, хвост молодого барашка

или моя чернота!

Мои люди с трудом поверили, что это их господин, накануне раздавленный горем, теперь отдает приказ поскорее перестроить караван, чтобы двинуться на северо-восток в сторону Красного моря.

Нам понадобилось два дня, чтобы добраться от Фив до Кенополиса, где из глины, смешанной с пеплом местного ковыля — альфы, выделывают кувшины, амфоры и сосуды для охлаждения воды. Глина получается пористой, и заключенная в такие сосуды вода благодаря постоянному испарению остается холодной. Потом мы вступили в горы, где смогли двигаться только небольшими переходами. Нам пришлось пожертвовать двумя молодыми верблюдами, которые покалечились в горах — то ли им не хватило выносливости, то ли мы их слишком навьючили. Мои люди снова воспользовались случаем, чтобы до отвала наесться мясом. Не меньше десяти дней потратили мы на переход через ущелья, над которыми высились заснеженные гребни — непривычное для нас зрелище, — пока не выбрались на прибрежную равнину. Велико было наше облегчение, когда мы наконец увидели кромку моря и соленые песчаные пляжи, — самые пылкие из моих спут-

ников устремились к ним с восторженными детскими криками. Море всегда вселяет надежду на избавление — увы, зачастую обманчивую.

Мы сделали привал в порту Коссейр. Как большая часть городов на побережье Красного моря, самую оживленную торговлю морем Коссейр ведет с Эйлатом, расположенным на крайнем севере залива, который отделяет Синайский полуостров от аравийского побережья. Это древний Ецион-Гавер царя Соломона, куда с двух материков, Африканского и Арабского, стекались богатства: золото, сандал, слоновая кость, обезьяны, павлины и лошади. Девять дней вели мы нескончаемые переговоры, пытаясь зафрахтовать одиннадцать баркасов, необходимых нам, чтобы погрузить на них людей, животных и провиант. После этого нам пришлось набраться терпения и прождать еще пять дней, потому что из-за северного ветра невозможно было пуститься в путь. Наконец мы смогли сняться с якоря и после недельного плавания вдоль обрывистых и пустынных гранитных скал с величавыми вершинами вошли наконец в проход, ведущий к порту Эйлата. За время этого безмятежного плавания отдохнули все, и в первую очередь верблюды, неподвижно стоявшие в прохладном

трюме, где они могли вволю есть и пить и даже вновь нагуляли себе горб.

Нам говорили, что от Эйлата до Иерусалима двадцать дней пути, и мы, без сомнения, уложились бы в этот срок, если бы в двух днях пути от Иерусалима не произошла встреча, которая хотя и задержала нас, но зато придала нашему странствию новый особенный смысл.

С той минуты, как мы высадились на берег, Барка Май не переставая рассказывал мне о неслыханном величии старинного Хеврона, к которому мы направлялись, — по словам Барки, ради него одного стоило пуститься в путь. Город гордился славой самого древнего города на земле. Да и кто мог бы ее оспорить, если там приютились Адам и Ева после изгнания из Рая? Более того, там можно увидеть поле, из глины которого Яхве сотворил первого человека!

Врата Идумейской пустыни, Хеврон расположен на трех зеленых холмах, усаженных оливковыми, гранатовыми и фиговыми деревьями. Наружные стены его белых домиков совершенно глухи и не пропускают ни малейшего признака жизни. Ни окон, ни веревок, на которых сушится белье, ни души на идущих лесенкой улицах, не видно даже собак. По крайней мере чужеземцу

первый город в истории человечества являет именно такую неприветливую личину. Это и сообщили мне гонцы, которых я выслал вперед объявить о нашем прибытии. И однако Хеврон встретил их не только безлюдьем. По словам гонцов, всего за несколько часов до нас в город прибыл другой караван, но, натолкнувшись на такой негостеприимный прием, путешественники разбивают к востоку от Хеврона лагерь, который, судя по всему, будет поражать великолепием. Я тотчас отправил в лагерь официального посланца, чтобы рассказать о том, кто мы такие, и узнать о намерениях чужестранцев. Гонец вернулся, упоенный результатами своего посольства. Люди, с которыми он говорил, состояли в свите царя Бальтазара IV, властелина халдейского царства Ниппур, — царь приветствовал нас и приглашал меня с ним отужинать.

Первое, что поразило меня, когда я приблизился к шатрам Бальтазара, было великое множество лошадей… Мы, люди дальнего юга, путешествуем только на верблюдах. Лошади потеют и часто мочатся и потому не приспособлены к отсутствию воды, а в наших условиях воды не бывает очень часто. И однако именно из Египта получал царь Соломон лошадей, которых впрягал в свои зна-

менитые военные колесницы. Судя по их крутой шее, коротким, но мощным ногам и круглому, как плод граната, крупу, кони царя Бальтазара принадлежали к той знаменитой породе, что водится в Таврических горах и, если верить легенде, происходит от крылатого коня Пегаса, принадлежавшего Персею.

Царь Ниппура — приветливый старец, который на первый взгляд более всего на свете ценит утонченные удобства. Он путешествует в таком экипаже, что никому не придет в голову спросить его, с какой целью он странствует. «Чтобы получать удовольствие, радоваться, наслаждаться», — ответят вам ковры, посуда, меха и благовония, о которых заботятся многочисленные, специально обученные люди. Не успели мы явиться в лагерь, как нас искупали, причесали, умастили благовониями искусные юные девушки, чей облик не мог оставить меня равнодушным. Позднее мне объяснили, что все они, как и царица Мальвина, родом из далекой, таинственной Гиркании. Желая проявить особое внимание к жене, царь именно оттуда и выписал прислужниц во дворец Ниппура. У этих девушек кожа очень белая, а черные как смоль волосы, густые и длинные, составляют восхитительный

контраст с голубыми глазами. Несчастное мое приключение сделало меня внимательным к такого рода подробностям, так что я смотрел на них во все глаза, пока меня обхаживали. Но когда первое изумление прошло, очарование несколько рассеялось. Конечно, белая кожа при густых черных волосах очень хороша, но над верхней губой и на предплечьях девушек проглядывал чуть заметный темный пушок, и я подумал, что они, пожалуй, проиграют, если их рассмотреть еще пристальнее. Словом, я предпочитаю белокурых женщин или негритянок — по крайней мере у тех и у других цвет кожи гармонирует с цветом волос!

Само собой, я не стал задавать Бальтазару нескромных вопросов, он также не спросил меня о причинах и цели моего путешествия. Пленники учтивости, мы играли в странную игру, состоящую в том, чтобы умалчивать о главном, приближаясь к нему лишь окольными путями с помощью умозаключений, которые кое-как удавалось вывести из незначащих слов, какими мы обменялись; поэтому к концу первого вечера я почти ничего не узнал о Бальтазаре, а он остался в неведении обо мне. По счастью, мы были не одни, а поскольку наших рабов и придворных

никакой этикет не принуждал к сдержанности, было очевидно, что уже назавтра мы узнаем друг о друге гораздо больше из пересудов в наших канцеляриях, кухнях и конюшнях — нам не преминут их пересказать. Несомненно было одно: царь Ниппура — большой знаток искусства и страстный собиратель статуй, картин и рисунков. Может, он и путешествует просто для того, чтобы любоваться прекрасными произведениями искусства и приобретать их? Такое предположение вполне согласуется с его роскошным экипажем.

Мы уговорились встретиться на другой день в пещере Махпела, где находятся могилы Адама, Евы, Авраама, Сары, Исаака, Ревекки, Лии и Иакова, — короче говоря, настоящий фамильный склеп библейских праотцев, для полного комплекта недостает только праха самого Яхве. Если я так легко и непочтительно говорю о том, что, конечно, заслуживает почтения, то лишь потому, что все это очень далеко от меня. Предания питаются нашими собственными соками. Только сообщество наших сердец придает им достоверность. Если мы не ощущаем в них нашей собственной истории, они остаются для нас иссохшим деревом и истлевшей соломой.

По-другому воспринимал это царь Бальтазар,

который с взволнованным видом шел вместе со мной подземным лабиринтом, ведущим к могилам патриархов. В темноте, в пляшущем пламени и дыме от факелов с трудом различимые могилы казались смутными холмиками. Мой спутник попросил показать ему могилу Адама и долго стоял, склонившись над ней, словно надеялся — уж не знаю на что — то ли постичь какую-то тайну, то ли внять напутствию или уловить какой-то знак. По выходе из пещеры сквозь невозмутимую красоту его лица явно проступало разочарование. Он окинул равнодушным взглядом великолепное терпентиновое дерево, ствол которого не могут обхватить даже десятеро взявшихся за руки мужчин и которое, говорят, восходит к временам Земного Рая. Бальтазар с презрением скользнул взглядом по усеянному колючками пустырю, где, по рассказам, Каин когда-то убил своего брата Авеля. Но зато любопытство царя проснулось вновь, едва мы оказались у живой изгороди из боярышника, которой был обведен вскопанный участок земли — из нее Яхве будто бы создал Адама, перенесенного им потом в Земной Рай. Бальтазар взял горсть этой первородной земли, из которой вылеплена была фигура человека и в которую потом Бог вдохнул жизнь, и задумчиво

просеял ее сквозь пальцы. Потом выпрямился и произнес, вероятно обращаясь ко мне, но, скорее, все же разговаривая сам с собой, следующие слова, запавшие мне в память, хотя они и остались для меня непонятны.

— Сколько ни размышляй над первыми строками Бытия — все мало, — сказал он. — Бог сотворил человека по образу своему и подобию. Зачем эти два слова? Какая разница между образом и подобием? Очевидно, дело в том, что подобие объемлет все существо — и тело, и душу, тогда как образ — лишь поверхностная и, может быть, обманчивая маска. Пока человек оставался таким, каким его создал Господь, его божественная душа просвечивала сквозь его плотскую маску и он был прост и чист, как золотой слиток. В ту пору образ и подобие являли собой общее, единое свидетельство происхождения человека. Тогда еще не было нужды в двух различных словах. Но с той минуты, как человек вышел из повиновения и согрешил, с той минуты, как он стал пытаться с помощью лжи уклониться от строгих Божьих заповедей, его сходство с Создателем, подобие, исчезло, и осталось только лицо, маленький обманчивый образ, как бы вопреки всему напоминающий о далеких корнях, отвергнутых,

попранных, но не сгинувших. Тогда становится понятным, почему попытка изобразить человека в живописи и скульптуре предана проклятию: эти искусства становятся пособниками лжи, прославляя и множа образ, лишенный подобия. В пылу фанатического рвения священнослужители преследуют изобразительные искусства, уничтожая даже самые вдохновенные создания человеческого гения. На все недоуменные вопросы они отвечают, что будут поступать так до тех пор, пока образ таит в себе скрытое, но полное отсутствие подобия. Быть может, падение человека будет искуплено и он возродится благодаря какому-нибудь герою или спасителю. И тогда восстановленное подобие оправдает его образ, и живописцы, скульпторы и рисовальщики смогут заниматься своим искусством, вновь обретшим священную глубину…

Слушая рассуждения Бальтазара, я смотрел на свежевскопанную землю и, поскольку слова «образ» и «подобие» настойчиво звучали в моих ушах, стал искать в этих комьях земли след человека — след Бальтазара, Бильтины, может быть, мой собственный след. Тем временем Бальтазар умолк, погрузившись в раздумье. Тогда, взяв в руки горсть земли, я протянул царю открытую

ладонь и спросил его:

— Ответь мне, если можешь, царь Бальтазар, какого, по-твоему, цвета эта земля, из которой был вылеплен Адам, — белая?

— Белая? Конечно, нет! — воскликнул он с такой непосредственностью, что я улыбнулся. — Если уж на то пошло, на мой взгляд, она, скорее, черная. Хотя, приглядевшись внимательней, я вижу в ней красновато-коричневый оттенок, а это напоминает мне о том, что по-древнееврейски «Адам» означает «земля цвета охры».

Он сказал больше, чем надо было, чтобы меня обрадовать. Я поднес горсть земли к своему лицу.

— Черная, коричневая, красная, охристая, говоришь ты. Так погляди же и сравни! Не было ли случайно лицо Адама сотворено по образу — пусть не по подобию, поскольку речь идет только о цвете, — лица твоего друга, царя Мероэ?

— Негритянский Адам? А почему бы и нет? Я об этом не задумывался, но ничто не мешает такому предположению. Однако минутку! Ева создана из плоти Адама. Стало быть, черному Адаму соответствует чернокожая Ева! Но удивительно! Наша мифология с ее стародавним набором образов сопротивляется своеволию нашего воображения

и разума. Адам — пусть, но Ева — нет, я вижу ее только белокожей.

А я сам! Не только белокожей, но и белокурой, с дерзким носиком и детским ртом Бильтины… И тут Бальтазар, увлекая меня к нашему большому общему каравану, где лошади смешались с верблюдами, задал вопрос, который для него был всего лишь забавным парадоксом, а для меня приобретал значение неизмеримое.

— Как знать, — сказал он, — уж не в том ли и состоит смысл нашего странствия, чтобы прославить негритянскую расу?

Бальтазар, царь Ниппура

Не могу нарадоваться тем, что в Хевроне наш караван встретился с караваном Мероитского царя Каспара. Жаль, что я мало изучал Черную Африку и ее цивилизации, которые, несомненно, таят в себе несметные сокровища. Что было этому причиной? Мое невежество, недостаток времени или просто то, что мои интересы всегда сосредоточивались на одной лишь Греции? Думаю, дело не только в этом. Человек с черной кожей отталкивал меня, потому что ставил передо мной вопрос, на который я не мог ответить, а приложить усилия, чтобы попытаться ответить, я не хотел. Мне должно было проделать долгий путь, чтобы понять моего черного брата. Этот путь я прошел безотчетно, старея и размышляя, и он привел меня вот к этому огражденному участку земли в полях Хеврона, где, по преданию, Яхве создал первого человека… и где меня ждал Каспар, царь Мероэ. Миф об Адаме, который был автопортретом Создателя, всегда занимал меня — мне издавна казалось, что он содержит важные истины, которых никто еще в нем не

обнаружил. Я не удержался и в присутствии Каспара стал рассуждать вслух, сопоставляя два слова — *образ* и *подобие*. До сих пор в них видели просто риторическое излишество, а я усматривал точку опоры для рычага, с помощью которого надеялся проникнуть в глубь этой слишком хорошо известной формулы и вырвать у нее ее тайну. В эту-то минуту мой славный негр обратил мое внимание на то, что земля Хеврона своим цветом напоминает его лицо, настолько, что легко вообразить Адама с такой же черной кожей, как у наших африканских друзей. Я тут же попробовал применить этот новый ключ, чернокожего Адама, к моей извечной проблеме: образ и портрет. Результат поразил меня и обнадежил.

Сомнений нет: у негра больше сродства с образом, нежели у белого. Чтобы убедиться в этом, достаточно увидеть, насколько лучше белых он носит украшения, яркую одежду и в особенности изделия из камней и драгоценных металлов. Негр по природе своей в большей мере Идол, чем белый. А Идол и есть образ.

Как ярко проявляется в неграх призвание быть идолом, я убедился, наблюдая спутников царя Каспара, которые являют нашим глазам обилие драгоценных украшений, более того, украшений,

вросших в плоть, — татуировок и насечек. Я заговорил об этом с Каспаром, и он удивил меня, одной простой фразой мгновенно перенеся вопрос в область морали.

— Я учитываю это, когда приближаю к себе людей, — сказал царь Мероэ. — Человек с татуировкой еще ни разу меня не предал.

Удивительная метафора, отождествляющая верность с татуировкой.

Что такое татуировка? Это постоянный амулет, драгоценное украшение, которое нельзя снять, потому что оно неотделимо от тела. Тело само превращено в драгоценность, приобщено к ее неувядаемой молодости. Мне показали на внутренней поверхности ляжек совсем еще маленькой девочки тонкие рубцы в форме ромбов: это «оковы», предназначение которых — оберегать ее девственность. Татуировка несет охрану у самых врат ее гениталий. Татуированное тело считается более чистым и защищенным, чем нетатуированное. Что до души татуированного, ей тоже передается нестираемость татуировки, которую она переводит на свой собственный язык, превращая ее в добродетель верности. Татуированный не предает, потому что ему запрещает это его тело. Оно навеки отдано во власть знаков,

символов и надписей. Его кожа — это логос. Писец и оратор обладают белым, девственным телом, похожим на чистый лист бумаги. Рукой и ртом они творят знаки, письмо и речь в пространстве и во времени. Татуированный, напротив, не произносит слов и не пишет — он сам и есть письмо и слово. В особенности когда он чернокож. Эта склонность африканцев впечатлять знаки в собственное тело достигает своего высшего выражения в выпуклых насечках. Я разглядывал тела некоторых спутников Каспара — знаки, вписанные в их плоть, обрели третье измерение. Живопись стала барельефом, скульптурой. На свою кожу, а она у них очень плотная и сочная, они наносят глубокие надрезы, не давая краям раны срастись, отчего образуются гнойные бугорки, которые с помощью огня, бритвы или иглы обрабатываются желтой охрой, хной, латеритом, соком арбуза, зеленого ячменя или белой глиной. Иногда негры доходят до того, что погружают в рану глиняный шарик или пластинку, смазанные растительным маслом, которые остаются там навсегда, после того как рана зарубцевалась. Но мне больше нравится другая техника, особенно изысканная, когда кожу режут на ремешки, сплетают их между собой и помещают косицу в главный

надрез, где она и остается, словно привой.

Нет никаких сомнений, что эти телесные искусства связаны с Адамом времен Рая. Плоть в них не низведена до роли орудия — орудия живописи или скульптуры, — сама сделавшись произведением искусства, она превращается в святыню. Да, меня не удивило бы, если расписанное и вылепленное тело спутников Каспара оказалось бы похожим на тело Адама в его первородной невинности и неразрывной близости к Слову Божьему. А наши гладкие, белые и нищие тела соответствовали бы претерпевшей кару, униженной и изгнанной Богом плоти — той, какой она стала со времени грехопадения…

Мы пробыли в Хевроне три дня. Столько же понадобилось нам, чтобы добраться до Иерусалима.

* * *

У скупых отцов сыновья — меценаты. Поскольку мой дед Бельсуссар, а потом мой отец Бальсарар с неистовой алчностью извлекали все, что только могли, из скудных возможностей маленького государства Ниппур, блестящего, но легковесного осколка Вавилонского царства, распад которого ускорила смерть Александра, поскольку за шесть-

десят пять лет царствования они избегали всего, что влечет за собой расходы, — войн, походов, большого строительства, — я, Бальтазар IV, их внук и сын, взойдя на престол, оказался владельцем богатств, которые позволяли осуществить самые честолюбивые замыслы. Но в мои планы не входили ни завоевания, ни роскошества. Мою юность вдохновляла единственная страсть — к чистой, естественной красоте, и я считал — и считаю поныне, — что в ней я черпаю чувство справедливости и политическое чутье, необходимые и достаточные для того, чтобы править народом.

Жадность моих предков... Я не думаю, что она вопиет против моих художественных наклонностей, как, впрочем, не думаю, что эти мои наклонности должны быть сведены к некой форме мотовства. Во мне всегда таился страстный коллекционер. А скупец и собиратель образуют отнюдь не враждебную чету, наоборот, в них много сходства, и возможное их соперничество, как правило, разрешается без серьезных столкновений. Когда я был ребенком, мне случилось однажды сопровождать деда в особую кладовую, которую он приказал соорудить в глубине дворца, чтобы хранить там в могильном покое

сокровища короны. Узкий коридор, то и дело переходящий в короткие крутые лестницы, упирался в гранитную глыбу величиной с дом, сдвинуть ее могла только целая система цепных приводов и воротов, расположенных в другом конце дворца. Этот небольшой поход должен был подготовить меня к тому, чтобы быть допущенным в Святая Святых. Прорезая сумрак светоносным копьем, в узкую бойницу проникал солнечный луч. Бельсуссар, согнувший худую спину, передвигал сундуки, обнаружив поразительную для своего возраста силу. На моих глазах он то склонялся над грудами бирюзы, аметистов, опалов и халцедонов, то перебирал на ладони необработанные бриллианты, то подносил к свету рубины, чтобы оценить чистоту воды, или жемчужины, чтобы полюбоваться их блеском. Понадобились годы размышлений, прежде чем я понял, что порыв, сблизивший меня с дедом в ту минуту, зиждился на недоразумении: если меня наполняла восторгом красота этих гемм и перламутра, он видел в них определенное количественное богатство — абстрактный, а стало быть, многозначный символ, который мог воплотиться в землю, в корабль или в дюжину рабов. Словом, я погружался в созерцание драгоценного

предмета, а дед воспринимал его как отправную точку процесса, апофеоз которого — цифра в ее чистом виде.

Мой отец положил конец двойственности, из-за которой скупца, склоненного над сундуком с драгоценными камнями, можно было принять за любителя искусства: взойдя на престол, он немедля избавился от сокровищ, спрятанных в кладовой. Правда, вначале он еще берег золотые монеты с гравированными изображениями, которые пришли к нам с берегов Средиземного моря, из Африки и азиатских стран. А я еще продолжал обманываться, влюбившись в эти изображения, которые тешили мою склонность к портретному искусству и — шире — вообще ко всякому изображению живых и мертвых. Может статься, запечатленные на золоте и серебре лица живых и умерших властителей приобретали в моих глазах божественный ореол. Но и это последнее заблуждение рассеялось, когда монеты исчезли, а им на смену явились абаки и счета халдейских банкиров, с которыми царь и его министр финансов поддерживали постоянные сношения. Как ни неприятен этот парадокс, но скупость, которая, нарастая, порождает непомерное богатство, имеет много общего с аскезой одержимого Богом

мистика, который накапливает лишения. Под личиной бедности как у скупца, так и у мистика таятся громадные, невидимые богатства, но, само собой, характер их в обоих случаях совершенно различен.

Мое пылкое призвание было несовместимо и с подобного рода бедностью, и с подобного рода богатством. Я люблю ковры, картины, рисунки, скульптуры. Люблю все, что украшает и облагораживает наше существование, и в первую очередь люблю изображение жизни, помогающее нам стать выше самих себя. Я довольно равнодушно взираю на геометрические узоры ковров из Смирны или фаянсовых изделий из Вавилона, и даже архитектура подавляет меня теми уроками величия и горделивой вечности, какие она как бы всегда стремится нам преподать. Мне нужно видеть существа из плоти и крови, воссозданные рукой художника.

Впрочем, я вскоре обнаружил еще одну грань моего эстетического призвания — страсть к путешествиям, которая окончательно утвердила мое отличие от деда и отца, осужденных скаредностью на вечную оседлость. Но, само собой, не Троянская война и не покорение Азии заставили меня покинуть родной дворец. Я посмеиваюсь,

записывая эти строки, такую вызывающую иронию я невольно в них вложил. Да, признаюсь, не с мечом в руке, а со своим сачком для ловли бабочек пустился я в путь по дорогам мира. Дворец Ниппура, к сожалению, не славен ни розариями, ни фруктовыми садами. На его белые террасы падают слепящие полотнища света, торжествуя брачный союз камня и солнца. Вот почему иногда ранним утром я с восторженным удивлением обнаруживал на балюстраде, окружающей мои покои, прекрасную пеструю бабочку, которая стряхивала с крылышек ночную росу. Потом она взлетала, мгновение нерешительно парила, затем уносилась прочь, всегда в одном направлении, на запад, в причудливом угловатом полете, свойственном существам, которым слишком широкие крылья мешают хорошо летать.

Мимолетная гостья изредка появлялась вновь, но каждый раз в новой одежде. Иногда она была желтой с черной бархатной отделкой, иногда огненно-рыжей с сиреневым глазком, а то и просто белоснежной, а однажды она была инкрустирована серым и синим, словно изделия из ракушек.

Я был тогда всего лишь ребенком, и эти бабочки, являвшиеся мне словно посланницы другого мира, воплощали в моих глазах чистую красоту,

недоступную и в то же время лишенную какой бы то ни было рыночной стоимости, то есть нечто прямо противоположное тому, чему меня поучали в Ниппуре. Я вызвал к себе управляющего, которому надлежало заботиться о моих материальных нуждах, и приказал ему сделать необходимое мне орудие: оно представляло собой палочку из тростника, которая заканчивалась металлическим ободком, а к нему был прикреплен колпачок из легкой ячеистой ткани. После нескольких неудачных попыток — почти всякий раз материалы, какие использовались для трех составляющих частей этого орудия, были слишком грубыми и несовместимыми с вожделенной жертвой — я наконец стал владельцем довольно сносного сачка для ловли бабочек. Не ожидая призыва утренней гостьи, я бросился навстречу горизонту, к его восточной стороне — откуда всегда являлись ко мне маленькие странницы.

Впервые в жизни выбрался я за пределы царских владений без свиты. К удивлению, я не встретил на своем пути никакой охраны, так что, казалось, моей вылазке потворствует все: на редкость мягкий, ласковый ветерок, пологий склон затененного тамарисками плато и, конечно, крылатое пятнышко, которое там и здесь

перепархивало с цветка на цветок, то ли бросая мне вызов, то ли напоминая о моих обязанностях охотника за бабочками. По мере того как я углублялся в долину одного из притоков Тигра, растительность становилась все разнообразнее. Я вышел из дому в конце зимы, оживленной редкими крокусами, но казалось, вступаю в прекрасную весну, расцветшую полями нарциссов, гиацинтов и амариллисов. И удивительное дело: бабочек не только становилось все больше — похоже было, что все они вылетают из одного места, оно, как видно, и должно было стать целью моего странствия.

Впрочем, целая туча насекомых еще издали указала мне, где находится ферма Маалека. Вокруг источника, безусловно и определившего местоположение фермы, стояли большой выбеленный куб, в котором было одно только отверстие — низенькая дверь, и два просторных и легких строения, поставленные под прямым углом к нему и крытые пальмовыми листьями. Над одной из крыш поднималось похожее на голубой дымок воздушное полотнище, тянувшееся то в одну, то в другую сторону, его движение, энергичное, стремительное, едва ли не властное, было не пассивным движением облака, но взлетом

громадного роя крылатых насекомых. Прежде чем я вошел во двор фермы, я успел подобрать в траве несколько маленьких мотыльков, одинаково серых и прозрачных, — должно быть, самых ленивых особей мигрирующего народца.

Навстречу мне с лаем бросилась собака, распугавшая стайку кур. Быть может, ее гнев вызвало странное орудие, которое я держал в руках, потому что успокоилась она, только когда появился хозяин. Он возник на пороге одной из хижин, крытых пальмовыми листьями, — статный, худой, с безбородым лицом аскета, в широкой желтой тунике с длинными рукавами. Он протянул мне руку, я подумал, что в знак приветствия, но тут же понял, что он просто хочет взять у меня сачок, который он, как и его собака, счел неуместным в этих краях.

Я решил, что не должен скрывать от него, кто я такой, и, заранее наслаждаясь удивлением, приправленным каплей негодования, какое должны вызвать мои слова, без обиняков заявил:

— Я вышел нынче утром из Ниппурского дворца. Я принц Бальтазар, сын Бальсарара и внук Бельсуссара.

Он ответил, не без лукавства указав на рой бабочек, который, перестав струиться из крыши,

таял над деревьями:

— Это синие калликоры. Они образуют гроздья куколок и улетают все вместе, повинуясь таинственному стадному чувству. Еще вчера ничто не предвещало, что они вот-вот сообща вылупятся на свет. И однако, вняв какому-то загадочному сигналу, каждая особь принялась пробивать свою оболочку.

Маалек, однако, не преминул отдать долг обычаям гостеприимства. Зачерпнув из колодца воды, он наполнил ею кубок и протянул мне. Я с благодарностью осушил кубок, осознавая, по мере того как я пил, сколь велика моя жажда. Да, долгий путь меня изнурил, и, напившись воды, я почувствовал, что ноги мои подкашиваются от усталости. Я понял, что Маалек это заметил, но решил не обращать внимания. Юный чудаковатый принц, сбежавший из своей столицы с нелепым орудием в руке, не заслуживал, чтобы с ним нянчились.

— Идем, — распорядился он. — Ты пришел, чтобы их увидеть. Они тебя ждут.

И он ввел меня в первую из хижин, крытых пальмовыми листьями, не дав даже времени спросить, кто именно меня ждет.

«Они» и впрямь были там — тысячи, сотни

тысяч, — и от шума, который они производили, пережевывая пищу, в воздухе стоял оглушительный треск. Вокруг размещались сосуды вроде чанов, наполненные листьями — фиговыми, тутовыми, виноградными, эвкалиптовыми, — зеленью укропа, моркови, спаржи и еще какой-то, какой — я не мог определить. В каждом чане был свой набор зелени, и в каждой зелени свои гусеницы, гладкие и мохнатые (этакие крохотные медвежата, коричневые, рыжие или черные), мягкие или закованные в твердый панцирь, с барочными украшениями — иголками, султанами, хохолками, щеточками, шишечками, сосочками, глазками. Но все до одной состояли из двенадцати сочлененных колец, заканчивающихся круглой головкой с громадными челюстями, и особенно неприятно было глядеть на тех, что благодаря своей форме и цвету совершенно сливались с растением, на котором жили, — в первую минуту можно было подумать, будто листья, охваченные каннибальским безумием, пожирают сами себя.

С округлившимися от любопытства и изумления глазами я склонялся то над одним, то над другим чаном, чтобы наглядеться на это необыкновенное зрелище, а Маалек наблюдал за мной.

— Как славно! — произнес он, обращаясь к

самому себе. — Я гляжу на то, как глядишь ты, я вижу, как ты видишь, и таким образом мое видение поднимается на вторую ступень, сообщая сущностным явлениям новую очевидность и свежесть. Мне следовало бы почаще принимать здесь молодых посетителей. Но ты ознакомился пока еще только с половиной действа. Идем вот в эту дверь, будем продолжать.

И он повлек меня за собой во вторую хижину.

После суетливой и прожорливой жизни мы увидели смерть или, вернее, сон, но сон, который до жути изощренно имитировал смерть. В ванночках с песком виднелись одни только сухие веточки и прутики — целая рощица искусственных насаждений. И вся эта рощица была усыпана коконами — странными несъедобными плодами в шелковистых светло-желтых чехольчиках, набухших изнутри чем-то весьма подозрительным.

— Не думай, что они спят, — сказал Маалек, угадавший мои мысли. — Коконы не знают зимней спячки. Наоборот, они заняты огромной работой, не многие люди представляют себе ее размах. Слушай внимательно, юный принц: гусеницы, которых ты видел, — это живые тела, состоящие, как ты и я, из различных органов. Желудок, глаза, мозг и прочее — у гусениц есть все. А теперь

смотри!

Он снял с веточки кокон, зажал его между большим и указательным пальцами, а потом рассек надвое лезвием. Внутри вспоротой куколки оказалось только белое вещество, похожее на мякоть авокадо.

— Видишь, в ней ничего нет, однородная мучнистая кашица. Все органы гусеницы растаяли. Нет больше гусеницы с ее полным физиологическим набором. Упрощена до крайности, разжижена! Вот что, оказывается, необходимо, чтобы стать бабочкой. Наблюдая за этими крохотными мумиями, я много лет размышляю об абсолютном упрощении, которое предшествует чудесной метаморфозе. И ищу параллелей. В области чувств, например. Да, чувств — хотя бы, если угодно, в страхе.

Он присел на скамеечку, чтобы было удобнее вести доверительный разговор.

— Страх… Однажды ясным апрельским утром ты прогуливаешься по парку возле своего дворца. Все располагает к миру и счастью. Ты расслабляешься, ты отдаешься ароматам, щебету птиц, теплому ветерку. И вдруг откуда ни возьмись хищный зверь, вот-вот он бросится на тебя. Надо сопротивляться, приготовиться к битве не на

жизнь, а на смерть. Тебя охватывает страшное волнение. В течение нескольких секунд мысли твои разбегаются, ты не в силах позвать на помощь, руки и ноги тебя не слушаются. Это и зовется страхом. Я бы назвал это *упрощением.* Обстоятельства требуют от тебя коренной метаморфозы. Человек, совершивший беззаботную прогулку, должен стать борцом. Это не может произойти без переходной стадии, когда ты разжижаешься наподобие куколки в коконе. Из этого разжижения должен выйти мужчина, готовый к борьбе. Будем надеяться, что это произойдет вовремя!

Он встал и молча прошелся по комнате.

— Эту теорию переходной стадии разжижения, безусловно, еще ярче можно проиллюстрировать на примере целого народа. Страна, в которой происходит смена политического правления или просто смена властителя, обычно переживает период смуты, когда все административные, судебные и военные органы словно бы растворяются в анархии. Без этого не может утвердиться новая власть.

Метаморфозу же, превращающую гусеницу в бабочку, можно считать просто образцовой. Я часто испытывал искушение увидеть в бабочке

цветок животного мира, который как бы по закону мимикрии, сливающей насекомое с листвой, расцветает на растении, именуемом гусеницей. Я называю эту метаморфозу образцовой, потому что успех ее поразителен. Ну можно ли представить себе более высокое преображение, нежели то, что зачинается серой ползучей гусеницей и завершается бабочкой? Далеко не все и не всегда следуют этому примеру! Я ссылался на народные революции. Но сколько раз бывало, что тирана лишали власти ради того лишь, чтобы освободить место для тирана еще более кровавого! А дети! Разве нельзя сказать, что переходный возраст, превращающий мальчиков в мужчин, — это превращение бабочки в гусеницу?

Потом Маалек ввел меня в маленький кабинет, где застоялся крепкий запах снадобий. Здесь, объяснил Маалек, он приносит в жертву бабочек, которых хочет сохранить навеки, распиная их с развернутыми крыльями. Едва они вылупятся из куколки, еще влажные, смятые и трепещущие, он помещает их в маленькую застекленную клетку, герметически закрытую. Там он наблюдает за тем, как они пробуждаются к жизни и расцветают под лучами солнца, а потом, прежде даже, чем они сделают первую попытку взлететь, удушает

их, вводя в клетку зажженный кончик палочки, пропитанный миррой. Маалек очень ценил эту смолу, которая сочится из одного восточного кустарника [4] и которую древние египтяне использовали для бальзамирования своих усопших. Маалек видел в ней символическую субстанцию, которая дает возможность плоти, подверженной разложению, достигнуть нетленности мрамора, смертному телу — бессмертия статуй… а этим хрупким бабочкам — плотности драгоценного камня. Он подарил мне сгусток мирры, я его сберег и сейчас, когда пишу эти строки, держу его в своей левой руке — я гляжу на эту чуть маслянистую красноватую массу, испещренную белыми полосками, — на моей руке сохранится от нее стойкий запах сумрачного храма и увядших цветов.

Позже Маалек впустил меня в свое жилище. Мне запомнились только тысячи бабочек, заключенных в плоские хрустальные коробки, которыми были увешаны все стены. Маалек долго перечислял мне их названия — здесь были сфинксы, павлины, ночницы, сатиры, — и я как сейчас вижу Большую перламутровку, Аталан-

---

[4] Примечания: 4
Бальзамодендрон мирра. (Balsamodendron Myrrha Nees).

ту, Хелонию, Уранию, Геликонию, Нимфалу. Но больше всего восхитило меня семейство Кавалеров-знаменосцев, и не столько из-за их «шпор», своего рода тонкого изогнутого продолжения задних крыльев, сколько благодаря эмблемам, заметным на их спинке, — эмблемы эти чаще всего представляли собой геометрический рисунок, однако иногда это было отчетливо фигуративное изображение, например голова, да, мертвая голова, а иногда и живая, чей-то портрет; мой портрет, уверил меня Маалек, преподнеся мне в коробочке из цельного розового берилла *Кавалера-знаменосца Бальтазара*, как он торжественно окрестил бабочку.

На другой день я пустился в обратный путь к Ниппуру, сменив мой сачок на Кавалера Бальтазара, которого спрятал под плащом вместе со сгустком мирры — двумя предметами, которые теперь, по прошествии многих лет, кажутся мне первыми вехами моей судьбы. Этот Кавалер Бальтазар — черный с переливами и сиреневой окантовкой и с выпуклым татуированным изображением на спинке (что это человечья голова, было бесспорно, моя ли — об этом можно было поспорить), именно поэтому и стал первой среди многих других жертв фанатической ненависти

священнослужителей Ниппура. Едва вернувшись во дворец, я с юношеской неосторожностью стал показывать всем мое приобретение, не замечая или не желая замечать, как некоторые лица посуровели, замкнулись, когда я стал объяснять, что прекрасный бархатный Кавалер выставляет напоказ на своей спинке мой портрет. Запрет на все изображения вообще и на портреты в частности остается нерушимой религиозной заповедью у всех семитских народов, которых преследует страх, а может, и соблазн идолопоклонства. Если речь идет о ком-нибудь из членов царствующей семьи, бюст, портрет, изображение на монете пробуждают к тому же еще подозрение в попытке самообожествления по образцу римлян, а это в глазах нашего духовенства равносильно святотатству.

Через некоторое время я отлучился на три дня, чтобы поохотиться. Возвратившись, я обнаружил на перилах террасы останки моей берилловой коробочки и ее драгоценного содержимого: они были превращены в порошок, как видно, их раздробили камнем или ударом дубины. Выведать у слуг ничего не удалось, хотя, без сомнения, «расправа» совершилась у них на глазах. Я убедился в том, что царская власть имеет пределы. Это

случилось со мной в первый раз, ему не суждено было стать последним.

Впрочем, у врага было имя и лицо. Первосвященник, благодушный старик — я подозреваю, что втайне он был скептиком, — по собственному почину не стал бы ополчаться на мои коллекции. Но у него был помощник, молодой левит Шеддад, безупречнейший из самых безупречных, поборник традиций, яростный приверженец догматов неуклонного кумироборчества. Сначала по слабости и робости, потом по расчету я всегда остерегался вступать с ним в открытую борьбу, но очень скоро понял: он непримиримый враг того, что мне дороже всего на свете, того, в чем я, собственно говоря, вижу смысл жизни, то есть рисунка, живописи и скульптуры, и — что, наверное, самое существенное — я никогда не простил ему уничтожения моей прекрасной бабочки — Кавалера Бальтазара, который к самому небу возносил мой портрет, запечатленный на его спинке. Горе тому, кто обидит ребенка, нанеся удар по самому дорогому для него сокровищу! Пусть не рассчитывает на то, что преступление сочтут ребяческим, поскольку жертва его — дитя!

Следуя давней семейной традиции, которая

наверняка восходит к золотому веку эллинизма, отец послал меня в Грецию. Я заранее был так очарован Афинами — целью моего путешествия, что, пока мы ехали через Халдею, Месопотамию, Финикию и, прежде чем высадиться в Пирее, заходили в порты Атталию и Родос, я словно бы ослеп. Из всех чудес и неожиданных впечатлений, открывшихся передо мной, в первый раз в жизни плававшим по морю, память не сохранила почти ничего — лишнее доказательство того, что юности свойственна не столько восприимчивость ума, сколько пылкость страстей.

Что из того! Ступив на землю Греции, я едва удержался, чтобы не упасть на колени и не поцеловать ее! Я совершенно не заметил, в каком упадке находится этот народ, когда-то процветающий, а ныне порабощенный и терзаемый распрями. Разграбленные храмы, пьедесталы без статуй, запустелые поля, города вроде Фив или Аргоса, превратившиеся в жалкие деревушки, — ничего этого не видели мои восхищенные глаза. Жизнь, покинувшая города и села, сосредоточилась только в двух местах — в Афинах и Коринфе. Но лично мне священной толпы статуй Акрополя хватило бы, чтобы заселить всю страну. Пропилеи, Парфенон, Эрехтейон — все

это изящество при небывалом величии, вся эта чувственная жизнь в сочетании с неописуемым благородством привели меня в такое блаженное изумление, что я не оправился от него по сей день. Я открывал то, чего ждал всю жизнь, но эти открытия далеко превзошли все мои ожидания.

Да, я и поныне не изменил страсти, пробужденной во мне знакомством с эллинской культурой, которое состоялось в моем отрочестве. Конечно, с тех пор я стал зрелым мужем, более зрелым стало к мое видение. Годы шли, и я научился смотреть с некоторого расстояния на очарованный мир мрамора и порфира, с вечера до утра озаренный светом Аполлоновой звезды. Из первого моего путешествия я сделал горький вывод, что душой и телом принадлежу любимой моей Греции и только по чудовищной ошибке судьбы родился в другой стране. Но мало-помалу я осознал то, что позднее назвал «*преимуществом отдаления*», и научился им пользоваться. Боль, причиняемая мне изгнанием из эллинской земли, озаряла ее светом, которого не дано было видеть ее обитателям и который многому учил меня, хотя и не утешал. Так из моей далекой Халдеи мне открылась тесная связь между пластическим искусством и многобожием. Боги, богини, герои

размножились в Греции настолько, что поглотили все, не оставив сколько-нибудь заметного места скромному человеческому бытию. Для греческого художника противоречие между священным и мирским решается просто: мирское ему неведомо. Если единобожие влечет за собой страх перед изображением и ненависть к нему, многобожие, царящее в золотом веке живописи и скульптуры, обеспечивает богам власть над всеми видами искусств.

Живя в своем дворце в Ниппуре, я, конечно, продолжал почитать далекую Грецию, но я постиг границы ее великого искусства. Ибо нехорошо, несправедливо, да и ошибочно заточить искусство на Олимпе, с которого изгнан конкретный человек. Лично для меня самое будничное, но и самое потрясающее ощущение — увидеть красоту, просиявшую вдруг в силуэте скромной служанки, в лице нищего, в движении ребенка. Эту красоту, таящуюся в повседневном, греческое искусство, признающее только Зевса, Феба и Диану, замечать не хочет. Я обратился к Библии евреев, которая являет собой свод самого нетерпимого монотеизма. Там я прочел, что Бог создал человека по образу своему и подобию, следовательно, сотворив не только первый в истории

мира портрет, но и первый автопортрет. Я прочел, что затем Он повелел человеку плодиться и размножаться, дабы потомство его населило землю. Следовательно, создав свой собственный портрет, Бог пожелал размножить его до бесконечности, дабы он распространился по всему миру.

Это двуединое начинание послужило примером для большинства властителей и тиранов: заботясь о том, чтобы их изображение распространялось на всем пространстве их владений, они приказывали выбивать его на монетах, которые не только многократно воспроизводятся, но и непрестанно кочуют из сундука в сундук, из кармана в карман, из рук в руки.

А потом произошло нечто непонятное — разрыв, катастрофа, и Библия, которая начиналась с Бога, творца портрета и автопортрета, вдруг стала беспощадно преследовать своим проклятьем создателей изображений. Это проклятье, нашедшее отзвук во всех странах Востока, стало причиной моих горестей, и я вопрошал себя: «Почему, почему, что же такое случилось и неужели это никогда не изменится?»

Жизни моей предстояло потечь по новому руслу, поскольку речь зашла о том, что мне пора выбрать себе жену. Эротическое и сентименталь-

ное воспитание наследного принца осуждено оставаться незавершенным и даже убогим. Почему? Да потому что для принца все слишком доступно. Если молодому человеку, бедному или просто незнатному, приходится бороться, чтобы удовлетворить свои плотские и сердечные желания, — бороться с собой, с обществом, нередко даже с самим предметом своей любви — и в борьбе его желания крепнут и мужают, принцу довольно сделать знак рукой или мигнуть, чтобы тело, на которое упал его взгляд, оказалось в его постели, пусть даже это тело жены великого визиря. Эта доступность расслабляет, пресыщает, лишая юного властелина терпкой радости охотника или тонкого наслаждения соблазнителя.

Мой отец спросил меня однажды на свой лад, начав разговор издалека, беспечно и шутливо, хотя речь шла о предмете весьма для него важном, думал ли я о том, что в один прекрасный день приму у него из рук бразды правления и к тому времени мне следовало бы взять себе жену, достойную стать царицей Ниппура. Я был начисто лишен политического честолюбия, а мое мужское естество по причинам, изложенным выше, не докучало мне требованиями, которые могли бы лишить меня сна. Однако вопрос отца,

на который я не знал, что ответить, встревожил меня и, может быть, даже подспудно подготовил к страданиям.

Караваны, прибывшие с берегов Тигра, наводняли рынки Ниппура своими сокровищами: плетеными изделиями из дрока, карбункулами, обивочными тканями, отделанными черной эмалью браслетами, шелком-сырцом, необработанными шкурами и факелами тонкой ювелирной работы. Как только открывался рынок, я обходил все его палатки и склады, где были свалены груды этих пленительных поделок, пахнувших Востоком и бескрайними просторами пустыни. В ту пору я был оседлым странником, и экзотические предметы заменяли мне верблюдов, корабли и ковры-самолеты, на которых я мог бы устремиться вдаль, по ту сторону горизонта. Вот так я и набрел в тот день на зеркало, если угодно — бывшее зеркало, в котором пластину полированного металла то ли заменили портретом, то ли написали портрет прямо на ней минеральными красками. На портрете изображена была девушка, очень бледная, голубоглазая, с густыми черными волосами, буйными прядями ниспадавшими ей на лоб и плечи. Серьезность взгляда контрастировала с юным личиком девушки и

придавала ему выражение капризной задумчивости. Не знаю отчего, — может, оттого, что я держал портрет прямо перед собой за ручку зеркала, — но я с радостью обнаруживал между нами некоторое сходство. Мы были почти однолетки, оба темноволосые, с голубыми глазами; судя по тому, откуда пришли караваны, ради встречи со мной незнакомка пересекла обледенелые нагорья Ассирии. Купив зеркало, я унесся на крыльях воображения. Где сейчас находится эта девушка? Откуда она — из Ниневии, Экбатаны, Рагеса? Но может, она так же далека от меня во времени, как и в пространстве? Может, этот портрет написан сто или двести лет назад и прелестная модель давно уже воссоединилась с прахом своих предков? Предположение это не только не огорчило меня, но, наоборот, еще сильнее приворожило к портрету, который приобретал тем большую ценность, ценность как бы абсолютную, оттого, что теряли значение сроки. Странная реакция — она должна была бы раскрыть мне глаза на мои истинные чувства!

Отец иногда наносил короткий визит в мои покои. Без сомнения озабоченный вопросом, который он успел мне задать, он сразу подошел к портрету-зеркалу. И его расспросы, конечно,

напомнили мне о том, что он посоветовал мне найти себе невесту.

— Вот женщина, которую я люблю и которую хочу назвать будущей царицей Ниппура, — сказал я.

Но потом мне пришлось ему признаться, что я понятия не имею ни о том, как зовут девушку, ни откуда она родом, ни даже сколько ей лет. В ответ на такое ребячество царь пожал плечами и двинулся было к двери. Но передумал и вернулся ко мне.

— Можешь ты дать мне портрет на три дня? — спросил он.

Мне очень не хотелось расставаться с портретом, но пришлось отдать его отцу. Однако по тому, как сжалось у меня сердце, я понял, насколько дорожу своим сокровищем.

Отец, хоть и любил напускать на себя вид легкомысленный, был человеком обязательным и щепетильным. Три дня спустя он появился у меня с зеркалом в руке. Положив его на стол, он спокойно сказал:

— Ну так вот. Ее зовут Мальвина. Она живет при дворе сатрапа Гиркании и приходится ему дальней родственницей. Ей восемнадцать лет. Хочешь, я попрошу для тебя ее руки?

Бурная радость, с какой я встретил возвращение драгоценного портрета, ввела в заблуждение моего отца. Он решил, что дело решено. Чтобы установить, с кого списан портрет девушки, он успел направить многочисленных гонцов к караванщикам, прибывшим с севера и северо-востока. А теперь послал пышное посольство в Самариану, летнюю резиденцию сатрапа Гиркании. Три месяца спустя мы с Мальвиной стояли рядом под покрывалами, скрывавшими наши лица, как того требовала традиционная брачная церемония в Ниппуре, и стали мужем и женой, не успев ни увидеть друг друга, ни услышать, как звучат наши голоса.

Я полагаю, никого не удивит, что я с пылким нетерпением ждал минуты, когда Мальвина откроет мне свое лицо, чтобы оценить ее сходство с портретом. Казалось бы, вполне естественное желание. Но, если подумать, на самом деле это был нелепый парадокс! Ведь портрет — неодушевленный предмет, который сотворен рукой человека по первородному образу живого лица. Это портрет должен быть похожим на лицо, а не лицо на портрет. Но для меня началом всех начал был портрет. Без настояний отца и моих приближенных мне бы и в голову не пришло

подумать о Мальвине с берегов Гирканийского моря. [5] Мне было довольно образа. Я любил его, а реальная девушка могла взволновать меня только отраженно, в той мере, в какой ее черты повторили бы мое любимое творение. Каким словом определить странное извращение, коим я был одержим? Я слышал, как одну богатую наследницу, жившую в одиночестве с целой сворой борзых, которым она, по слухам, расточала самые жаркие ласки, называли *зоофилкой*. Может, для меня персонально стоит изобрести слово *иконофил*?

Жизнь состоит из уступок и соглашений. Мы с Мальвиной приспособились к обстоятельствам, которые, хотя и возникли из недоразумения, оказались, однако, терпимыми. Портрет-зеркало всегда висел на стене нашей спальни. В каком-то смысле он хранил нас во время наших супружеских забав, и никто, даже сама Мальвина, не мог бы заподозрить, что этому портрету предназначался весь мой любовный пыл. Однако годы шли, неумолимо углубляя пропасть между портретом и моделью. Мальвина пышно расцветала. Все в ее лице и теле, что к тому времени, когда

---

[5] Примечания: 5
Ныне — Каспийского.

мы поженились, еще сохранялось от детства, ушло, уступив место величавой красоте матроны, предназначенной царствовать. Пошли дети. И каждые последующие роды все больше удаляли мою жену от смеющегося и грустного образа, который по-прежнему воспламенял мое сердце.

Моей старшей дочери было, наверно, лет семь, когда произошла маленькая сцена, на которую никто не обратил внимания и которая тем не менее перевернула мою жизнь. Миранда, доверенная попечениям няньки, редко заглядывала в комнаты родителей. Поэтому, когда мы зазывали ее к себе, она расширенными от любопытства глазами оглядывала окружающее. В тот день девочка подошла к супружеской постели и, подняв голову, указала пальцем на маленький портрет-зеркало, ее охранявший.

— Кто это? — спросила она.

И вот в то самое мгновение, когда она произнесла эти бесхитростные слова, я, словно при вспышке молнии, распознал на ее наивном, очень бледном, освещенном голубыми глазами личике, казавшемся особенно крошечным среди волн густых черных кудрей, — так вот, я распознал на нем выражение капризной задумчивости, свойственное портрету, на который она

указывала, словно металл, вновь обретя свои зеркальные свойства, отразил образ этой маленькой девочки. От глубокого и упоительного волнения у меня на глазах выступили слезы. Сняв портрет со стены, я привлек к себе дочь и приблизил портрет к ее юному личику.

— Вглядись получше, — сказал я. — Ты спрашиваешь, кто это? Вглядись получше, это кто-то, кого ты знаешь.

Миранда упорно хранила молчание, молчание жестокое и оскорбительное по отношению к матери, которую она решительно не узнавала в этом юном портрете.

— Ну так вот, это ты, ты, какой ты скоро станешь, когда немного подрастешь. Поэтому возьми этот портрет. Я тебе его дарю. Повесь его над своей кроватью и каждое утро, глядя на него, говори: «Здравствуй, Миранда!» И ты увидишь, как с каждым днем ты все больше будешь походить на этот образ.

Я поднес портрет к глазам дочери, и она послушно, с детской серьезностью произнесла: «Здравствуй, Миранда!» Потом сунула портрет под мышку и убежала.

На другой же день я объявил Мальвине, что отныне у нас будут раздельные спальни. А вскоре

смерть моего отца и наша коронация стерли воспоминание об этом жалком эпилоге нашей супружеской жизни.

* * *

Я ощупываю, всматриваясь в него и словно пытаясь прочитать в нем предсказания будущего, сгусток мирры, который давным-давно подарил мне Маалек, видевший в мирре вещество, обладающее свойством увековечивать преходящее, то есть превращать бренную плоть людей и бабочек в нетленную. В самом деле, вся моя жизнь разыгрывается между двумя этими понятиями: время и вечность. Ибо в Греции я нашел именно вечность, воплощенную в божественном племени, неподвижном, полном очарования и озаренном солнцем, которое само — статуя бога Аполлона. А мое супружество вновь погрузило меня в толщу протяженности, где все — старение и перемена. Я увидел, как сходство юной Мальвины с восхитительным портретом, который я полюбил, с каждым годом все больше стирается под «приметами возраста», проступающими в облике принцессы с берегов Гиркании. Теперь-то я знаю, что обрету понимание и покой только тогда, когда увижу, как мимолетная и пронзительная

правда человеческого слилась в едином образе с божественным величием вечности. Но можно ли вообразить себе сочетание более невероятное?

Государственные дела много лет удерживали меня в Ниппуре. Но потом, уладив самые основные внутренние и внешние трудности, которые оставил нерешенными мой отец, а главное, поняв, что высшее достоинство государя — уметь окружить себя людьми даровитыми и честными и доверяться им, я смог предпринять одно за другим ряд путешествий, истинной, да и нескрываемой целью которых было познакомиться с художественными богатствами соседних стран, а если возможно, и приобрести их. Я сказал, что государь должен уметь доверяться министрам, им самим назначенным, но при одной оговорке: не надо искушать судьбу и, дабы избежать беды, следует принять необходимые меры предосторожности. Я окружил великим почетом старинную службу пажей — юношей благородного происхождения, которых отцы посылают ко двору, чтобы, состоя при государе, они приобретали знания и знакомства, могущие им пригодиться впоследствии. Уезжая из Ниппура, я доверял ключевые должности только тем из моих приближенных, которые отпустили со мной в

дорогу по крайней мере одного из своих сыновей. Таким образом, меня сопровождала блестящая свита молодых людей. Они оживляли наше странствие, пополняли свое образование, знакомясь с обитателями и с искусством чужеземных стран, и в то же время были как бы заложниками, оберегая вельмож, оставшихся в Ниппуре, от искушения совершить государственный переворот. Моя затея имела успех; учрежденный мной институт пажей даже зажил своей независимой жизнью. Повинуясь склонности, столь свойственной молодым людям, мои пажи, к которым присоединились и мои собственные сыновья, основали своего рода тайное общество, эмблемой которого стал цветок нарцисса. Лично мне нравится этот наивный вызов — признание в любви, которую юность безотчетно испытывает к самой себе. Опыт, приобретенный в наших совместных поездках, известное отторжение от ниппурского общества, крупица презрения к столичным домоседам, закоснелым в своих привычках и предрассудках, способствовали тому, что мои Нарциссы превратились в революционное политическое ядро, — я многого жду от них, когда для меня наступит время удалиться от власти вместе с моими сверстниками.

Само собой, одно из наших первых путешествий мы совершили в Грецию и в соседние с ней страны. Мне хотелось, чтобы мои молодые спутники испытали восторг, подобный тому, какой я сам пережил двадцать лет назад, и, когда мы погрузились в Сидоне на финикийский парусник, нас снедало радостное нетерпение. Но то ли годы изменили мое видение, то ли на меня так действовало присутствие молодых пажей, я не нашел в Греции моего отрочества, зато я открыл другую Грецию. Мои Нарциссы, предприимчивые и жаждущие новых знакомств, очень быстро обжились в обществе афинской молодежи, и вообще-то гостеприимном и открытом. С легкостью, меня удивившей, они усвоили его язык, переняли манеру одеваться, стали завсегдатаями античных бань, гимнасиев и театров. Они слились с ним настолько, что иногда я с трудом отличал моих слуг от эфебов, заполнявших парильни и палестры. Я гордился успехами Нарциссов и заранее радовался благотворному влиянию, какое они окажут на городских домоседов Ниппура. Я был доволен даже тем, что они безоговорочно приобщились к известной форме любви, которая сделалась отличительной чертой Греции, — хотя она распространена повсюду, только там ею занимаются

спокойно и открыто; на мой взгляд, эта форма любви способна внести некоторое разнообразие, бескорыстное и безобидное, в вынужденную тягостную гетеросексуальность брачных союзов.

Но в этом городе, гений которого ослепил когда-то мир, были не только гимнасты, актеры, учителя фехтования и массажисты. Я проводил восхитительные вечера под увенчанными листвой портиками, за чаркой белого фасоского вина в беседах с мужчинами и женщинами на редкость образованными, скептичными, всем интересующимися, тонкими, забавными и умеющими как никто в мире принимать гостей. Однако вскоре я понял, что мне нечего ждать от людей, пусть высокоцивилизованных, но чья душевная сухость, поверхностный ум и бесплодное воображение создают вокруг ощущение почти полной пустоты. Мое первое путешествие в Грецию познакомило меня только с богами. Во второй раз я увидел людей. К сожалению, между первыми и вторыми не было никакой связи. Быть может, много веков назад эту землю населяли крестьяне, солдаты и несравненные мыслители, которые были накоротке с Олимпом. Они постоянно общались с полубогами, фавнами, сатирами, Кастором, Поллуксом, Гераклом, титанами, кентаврами. Кроме

того, были гении, чей мощный голос доносится до нас из глубины веков, — Гомер, Гесиод, Пиндар, Эсхил, Софокл, Еврипид. Те, кого я встречал теперь, не были их прямыми наследниками, не были даже наследниками наследников. Образ Греции моего первого путешествия был возвышенным. Однако во время второй поездки я вынужден был признать, что образ этот — маска, за которой нет лица, но зияет пустота.

Но что из того! Борта корабля, увозившего нас на родину, ломились от бюстов, торсов, барельефов и изделий из керамики. Как жаль, что я не мог разобрать храм на части, чтобы весь целиком увезти его домой! Так или иначе, именно в этой первой экспедиции и зародилась мысль о *Бальтазареуме*, иначе говоря, о музее, где будут выставлены коллекции и художественные сокровища, приобретенные царствующим домом. Каждая новая экспедиция приумножала богатства Бальтазареума, с каждым годом в специально отведенных для этого залах появлялись все новые пунические мозаики, египетские саркофаги, персидские миниатюры, кипрские ковры и даже индийские идолы с хоботами, как у слона. Это собрание (признаюсь, довольно пестрое) было моей гордостью, целью не только моих пу-

тешествий, но и всей жизни. Когда мне случалось приобрести какую-нибудь новую диковинку, я, бывало, просыпался ночью, смеясь от радости, представляя себе, какое место ей предстоит занять среди моих сокровищ. Мои Нарциссы включились в эту игру и, невольно сделавшись знатоками разного рода mirabilia, [6] с юношеским пылом охотились за сокровищами и приносили мне добычу. Впрочем, я не терял надежды, что прекрасное художественное воспитание, которое они благодаря мне получили, принесет плоды и кто-нибудь из них однажды возьмет в руки нож гравера, перо рисовальщика или резец скульптора. Созерцание творчества заразительно, и шедевры полностью осуществляют свое предназначение лишь тогда, когда способствуют рождению новых шедевров. Поэтому я поощрял художественные поиски юноши по имени Ассур, который был родом из Вавилона и входил в группу Нарциссов. Однако Ассуру в его работе мешала не только вражда духовенства, но и то противоречие, какое я уже пытался сформулировать раньше, — противоречие между иератическим искусством, сковавшим творения, которые мы

[6] Примечания: 6
Чудес *(итал.). — Примеч. пер.*

наблюдали вокруг, и непосредственными проявлениями обыденной жизни, которая восхищала и радовала Ассура. Поиски юного художника были похожи на мои, только он вкладывал в них больше страсти и муки, потому что был молод и честолюбив.

А потом случилось несчастье, черное злодейство под покровом безлунной ночи, и этот день осеннего равноденствия мгновенно перебросил меня из вечной молодости, в которой я обретался с моими Нарциссами и моими сокровищами, в горькую, одинокую старость. За несколько часов волосы мои поседели, стан согнулся, взгляд помутнел, слух притупился, поступь отяжелела, а плоть утратила силу.

Мы находились в Сузг, ведя в развалинах Ападаны Дария I поиски того, чем могла бы одарить нас династия Ахеменидов. Урожай был богат, но было в нем что-то зловещее. Вазы, которые мы откапывали, говорили только о страданиях, разорении и смерти. Иные знаки не обманывают. Мы выбирались из гробницы, где обнаружили черепа, инкрустированные хризопразом — а этот камень известен своим пагубным влиянием, — и тут увидели черного коня, казавшегося крылатым в клубах пыли и несшегося к нам с запада.

Мы с трудом узнали во всаднике брата одного из моих Нарциссов, так исказила его лицо пятидневная бешеная скачка, а также — увы — страшная новость, которую он нам привез. Бальтазареума больше не существовало. Его осадили взбунтовавшиеся обитатели самых подозрительных районов города. Верные слуги, пытавшиеся преградить им вход, были убиты. А потом начался самый обыкновенный грабеж, и от сокровищ музея ничего не осталось. То, чего не могли унести, разбивали кувалдами. Судя по выкрикам и лозунгам мятежников, народный гнев был вызван религиозными причинами. Они желали покончить с капищем, собрания которого надругались над почитанием истинного Бога и над запретом создавать кумиры и образы.

Почерк преступника было легко узнать. Чернь, населяющая бедные кварталы моей столицы, была мне слишком хорошо известна, и я понимал, что ей все равно, кого почитать — истинного Бога или идолов. Но зато она чутко прислушивается к приказам, подкрепляемым подачками — деньгами или спиртным. Не было никаких сомнений, что к этому так называемому народному восстанию приложил руку помощник первосвященника Шеддад. Но, само собой, он сумел остаться

в стороне. Мой злейший враг нанес мне удар, ничем себя не обнаружив. Обвиняя его, я выказал бы себя тираном, и покорный духовенству народ меня проклял бы. Главарей смуты и тех, кто был изобличен в нанесении смертоносных ран стражам Бальтазареума, схватили и продали в рабство. А я сам, тоже смертельно раненный, заперся в отдаленных покоях своего дворца.

И вот тут-то и начались разговоры о комете. Рассказывали, что она движется с юго-запада к северу. Мои астрологи, все халдеи, пришли в страшное волнение и вели бесконечные споры о том, что означает сие явление. Сошлись на том, что это грозное знамение. Эпидемиям, засухе, землетрясениям, появлению кровавого деспота всегда якобы предшествуют необычные метеоры. И мои астрологи старались перещеголять друг друга в зловещих предсказаниях. Но мрачная печаль, в какую я был погружен, подстрекала меня им противоречить. К их величайшему изумлению, я утверждал, что нынешние дела настолько плохи, что глубокие перемены могут быть только на пользу. А стало быть, комета — счастливое предзнаменование. Но когда комета появилась наконец в небе над Ниппуром, изумление островерхих колпаков, услышавших, как я рассуждаю

о ней, дошло до крайности. Надо сказать, что разграбление Бальтазареума слилось в моих глазах с гибелью моей прекрасной бабочки — Кавалера Бальтазара: за пятьдесят лет до этого она пала жертвой того же тупого фанатизма. В своем горе я отождествлял великолепное насекомое, носившее на себе мое изображение, с дворцом, где я хранил то, что мне было всего дороже в жизни. Так вот, когда причудливая трепещущая звезда появилась над нашей головой, я хладнокровно объявил, что это — сверхъестественная бабочка, бабочка-ангел, на спинке которой вылеплено изображение некоего властителя и которая оповещает всех способных ее услышать, что грядет благотворный переворот и случится он на западе. Ни один из моих ученых звездочетов не решился мне перечить, а кое-кто даже стал угодливо мне поддакивать, так что в конце концов я и сам поверил в то, что сначала утверждал, просто чтобы их позлить. Так у меня и родилась мысль еще раз сняться с места, чтобы развеять хандру, пустившись по следам огненной бабочки, как в тот день, когда со своим сачком в руках я набрел на ферму Маалека.

Нарциссы, изнывавшие от скуки со времени разгрома Бальтазареума, стали с восторгом го-

товить лошадей и провиант, необходимый для длительного путешествия на запад. Что до меня, поскольку во мне пробудились воспоминания о Маалеке и его бабочках, я больше не выпускал из рук сгустка мирры, который он мне вручил. Я смутно угадывал в этой полупрозрачной благовонной массе залог того, что мучительное противоречие, меня раздражавшее, будет разрешено. Памятуя назначение, которому мирра служила в руках египетских бальзаматоров, я видел в ней бренную плоть, приобщенную к вечности. Пускаясь в неведомое в том возрасте, когда люди обычно ищут покоя и предаются воспоминаниям, я искал не как другие нового выхода к морю, истоков Нила или геркулесовых столпов, но некоего посредничества между безличной и вневременной золотой маской греческих богов и… по-детски серьезным личиком моей маленькой Миранды.

От Ниппура до Хеврона не меньше ста дней пути, ибо, если ты хочешь переправиться на корабле через Мертвое море, надо сделать крюк к югу. Каждую ночь мы видели на западе трепещущую огненную бабочку, а днем я чувствовал, как мое тело и душа наливаются молодыми силами. Наше путешествие превратилось в праздник, и

с каждым переходом мы ликовали все больше. Оставалось всего два дня пути до Хеврона, когда всадники, посланные мной на разведку, донесли, что со стороны Египта, а может быть, Нубии навстречу нам движется караван верблюдов, ведомый неграми, но намерения у них, судя по всему, вполне миролюбивые. Прошли сутки с той минуты, как мы разбили наши палатки у ворот Хеврона, когда посланец царя Мероэ приблизился к часовым, охранявшим мой шатер.

Мельхиор, принц Пальмиры

Я царь, но я беден. Может статься, предание превратит меня в волхва, пришедшего поклониться Спасителю, принеся ему в дар золото. Отрадная и горькая ирония, хотя в известной мере легенда говорит правду. Других сопровождает свита, у них есть слуги, верховые животные, шатры, всевозможная утварь. Так и должно быть. Цари не путешествуют без подобающего снаряжения. А я — я один, если не считать старика, который никогда не расстается со мной. Старик наставник, спасший мне жизнь, сопровождает меня повсюду, но, принимая во внимание его возраст, он больше нуждается в моей помощи, нежели я в его услугах. Как бродяги шли мы пешком от самой Пальмиры, и все наши пожитки умещаются в узле, который мы несем на плече. Мы миновали реки и леса, пустыни и степи. Прежде чем войти в Дамаск, мы обзавелись тюрбанами и котомками бродячих торговцев. Прежде чем войти в Иерусалим, приобрели ермолки и посохи паломников. Ведь нам должно опасаться как наших земляков, отправленных за нами в погоню, так и местных

жителей, питающих неприязнь к странникам, чей род занятий они не могут определить.

Мы пришли из Пальмиры — города пальм, называемого по-древнееврейски Тадмор, розового города, построенного Соломоном после победы под Хаматом-Соба. Это мой родной город. Мое владение. Я взял с собой из него одну-единственную вещь, но она была подтверждением моего сана и семейной реликвией; это золотая монета с изображением моего отца, царя Теодена, она зашита в оторочку моего плаща. Ибо я наследный принц Пальмиры, ее законный властелин с тех пор, как не стало ее царя, умершего при довольно загадочных обстоятельствах.

У царя долгое время не было детей, и его младший брат Атмар, принц Хамата, что на Оронте, у которого было множество жен и детей, считал себя наследником трона. Так, по крайней мере, полагаю я, судя по тому, как враждебно он всегда относился ко мне. Дело в том, что мое появление на свет нанесло жестокий удар его честолюбивым вожделениям. По сути дела, он так и не смирился с этим поворотом судьбы. Во время одного из своих путешествий на восточный берег Евфрата мой отец познакомился с простой бедуинкой и полюбил ее. Узнав, что ей предстоит стать ма-

терью, он удивился и обрадовался. Он тотчас развелся с царицей Эфорбией и возвел на трон пришелицу, которая повела себя с врожденным достоинством, когда ей пришлось в одно мгновение переселиться из палатки кочевника во дворец Пальмиры. Позднее я узнал, что мой дядя стал распускать насчет моего происхождения слухи, равно оскорбительные как для моей матери, так и для моего отца. Это привело к разрыву между братьями. Однако царица Эфорбия отвергла домогательства Атмара, который уговаривал ее поселиться в Хамате, где, по его словам, для нее построили отдельный дворец. Атмар, конечно, был уверен, что найдет в Эфорбии союзницу и услышит из ее уст признания, которые можно будет обратить против царя. Но бывшая царица с безупречным достоинством удалилась от двора, решительно закрыв двери своего дома разного рода интриганам. Однако шпионы, заговорщики и просто приспособленцы по-прежнему неустанно сновали между Пальмирой и Хаматом. Мой отец это знал. Когда мне было четырнадцать лет от роду, на охоте произошел довольно странный случай, едва не стоивший мне жизни, после этого отец распорядился, чтобы меня тщательно охраняли. О собственной жизни он заботился куда

меньше. И конечно, напрасно. Мы так никогда и не узнали, повинно ли было в его внезапной смерти ривлское вино, кубок с которым, наполовину осушенный, выпал из рук царя, когда он рухнул наземь, словно пораженный в самое сердце. Я явился на место происшествия, но жидкость, разлившуюся по полу, уже невозможно было собрать, а глиняный кувшин, из которого вино было налито, загадочным образом оказался пустым. Придворные, которых я считал преданными царю или же, наоборот, далекими от происходящего во дворце и равнодушными к почестям, тотчас сбросили маску и заявили себя пылкими сторонниками принца Атмара, а стало быть, противниками моего вступления на престол.

Я отдал необходимые распоряжения насчет похорон отца. Горе и хлопоты истощили мои силы. На другой день меня должны были торжественно представить двадцати членам Царского Совета, чтобы тем самым официально подтвердить мое предстоящее вступление на отцовский трон. Я прилег отдохнуть, но с первыми лучами зари мне доложили о приходе Бахтиара, моего старого наставника, всегда бывшего для меня вторым отцом; теперь Бахтиар поднял меня с постели,

заявив, что я должен немедля бежать. То, что мне рассказал старик, превосходило самое мрачное воображение. Мою мать, царицу, похитили. Ее пытались силой заставить подписать лживые признания в том, будто я был плодом любовной связи, которую за спиной моего отца она поддерживала с кочевником из своего племени. Заговорщики грозились убить меня, если она откажется подтвердить эту гнусную клевету. Было очевидно, что Совет, три четверти членов которого подкуплены, объявит о моем низложении и вручит корону моему дяде. Только мое бегство могло избавить царицу от зловещего выбора. Заговорщики отпустят ее, а я буду спасен, хотя и ввергнут в самую крайнюю нищету, да к тому же лишен права носить мое имя.

И вот мы бежали через подземелья дворца, соединяющие его с некрополем. Таким образом я нежданно для самого себя мог на ходу поклониться моим предкам и молча постоять у склепа, который по приказу, отданному мной самим за несколько часов до этого, был приготовлен для моего отца. Чтобы обмануть преследователей, мы избрали для своего бегства путь на первый взгляд наименее разумный. Вместо того чтобы бежать на восток, в сторону Ассирии, где мы

могли бы найти убежище (но у нас не было никакой надежды добраться до Евфрата раньше, чем нас настигнут), мы направились к западу, в сторону Хамата, города, принадлежащего моему заклятому врагу. На второй день, спрятавшись среди обломков скал, я увидел, как мой дядя Атмар скачет со своей свитой в Пальмиру. Стало быть, он пустился в путь, даже не дождавшись решения Совета, настолько был заранее уверен, каковым это решение будет. Поспешность Атмара показала мне, как широко простирается измена, жертвой которой я стал.

Мы жили подаянием, и если жестокие испытания в каком-то смысле обогатили меня, то прежде всего, безусловно, потому, что я узнал свой народ со стороны прямо противоположной той, с какой наблюдал его до сих пор. Я иногда распоряжался раздачей съестного беднякам Пальмиры. По юношескому недомыслию я беспечно наслаждался лестной и легкой на первый взгляд ролью благотворителя, который щедрой рукой одаряет неимущих. Но вот я сам, сделавшись нищим, стучусь в двери и протягиваю шапку прохожим. Удивительная и благотворная перемена! Вначале я не мог отделаться от мысли, что я жертва чудовищной несправедливости, а богач, которого

я молю о куске хлеба, на самом деле мой подданный и я вправе, щелкнув пальцами, сослать его в рудники или приказать отрубить ему голову. Очевидно, мои мрачные мысли отчасти отражались на моем лице. Некоторые люди, высокомерные и потому невнимательные, подавали мне милостыню или отказывали в ней, даже не взглянув на меня. Но другие, возмущенные выражением моего лица, молча отгоняли меня прочь или замечали с укором: «Что-то ты больно горд для нищего» или «Я не бросаю костей собаке, которая кусается». Иногда мне даже приходилось выслушивать довольно циничные советы: «Если ты такой дерзкий, бери, а не попрошайничай!» или «В твоем возрасте, да при таких глазищах тебе место на большой дороге, а не у двери храмов!» И я понял, что царское происхождение в сочетании с бедностью способно породить скорее разбойника, нежели нищего; но у царя, нищего и разбойника общее то, что все они находятся как бы вне рамок обычных отношений между людьми и ничего не получают в результате обмена или труда. Эти размышления, а также воспоминания о только что происшедшем государственном перевороте, жертвой которого я стал, навели меня на мысль о том, сколь зыбки границы этих трех состояний, и

о том, что, быть может, однажды воцарится такой социальный строй, когда не будет ни царей, ни разбойников, ни нищих.

Иерусалим и посещение царя Ирода Великого дали новую пищу и новое направление моим мыслям.

С тех пор как умер мой отец, мне казалось, что время летит с необычайной быстротой, резкими скачками, принося ошеломляющие превращения и потрясения. Одним из таких потрясений стало для меня открытие Иерусалима. Мы поднялись на холмы Самарии в обществе одного ортодоксального еврея, строго соблюдавшего законы своей веры, — только страх перед хищными зверями и разбойниками вынудил его присоединиться к нам, чужеземцам, нечистым, варварам. Он все время бормотал молитвы и под этим предлогом не обмолвился с нами ни словом.

И вдруг он застыл на голой вершине холма, скрестив вытянутые вперед руки, чтобы помешать нам встать впереди, и погрузился в долгое молчаливое созерцание. Наконец в каком-то экстазе трижды воскликнул: «Святой! Святой! Святой!»

И правда. Перед нами у подножия горы Скопус, на которой мы стояли, лежал Иерусалим. Впер-

вые в жизни я увидел город более обширный и могущественный, чем моя родная Пальмира. Но как не похожа была розовая и зеленая пальмовая роща, откуда я пришел, на столицу царя Ирода! У наших ног в беспорядке располагались террасы и кубики домов, стиснутые оградами, их грозные зубцы походили на ощеренную западню. Город, прорезанный узенькими улочками и темными лестницами, весь был омыт ровным серым светом, вместе с редкими струйками дыма от него поднимался унылый гул, к которому примешивались крики детей и лай собак, — гул, казалось, тоже был серым. Границей этого скопища домов и прочих строений на востоке служило бледно-зеленое с пепельным оттенком пятно — Масличная гора, а дальше — бесплодная и мрачная долина Иосафат; на западе — плешивый бугор, гора Голгофа; на заднем плане — хаос гробниц и пещер Геенны, зияющей пропасти, которая обрывается на глубину более шестисот футов.

Спустившись ниже по склону, мы различили три громады, своими стенами и башнями подавлявшие муравейник домов. С одной стороны — дворец Ирода — грозная крепость из неотесанного камня, посередине — дворец Асмонеев, более старинный и не такой вызывающе

чванливый, и, наконец, к востоку — третий иудейский храм, еще не законченный, удивительное гигантское строение вроде Вавилонской башни, грандиозно-величавое, воистину священный город в недрах мирского города, его колоннады, портики, паперти и монументальные лестницы поднимались к святилищу — высшей точке царства Яхве.

Мы вошли в город через Вениаминовы ворота, и нас тут же подхватил необычно возбужденный людской поток. Бахтиар справился о причине возбуждения. Нет, не праздник, не объявление войны или приготовления к свадьбе кого-нибудь из членов царской семьи привели толпу в такое волнение. Дело было в том, что в Иерусалим прибыли два царственных гостя — один с юга, другой из Халдеи; от Хеврона они двигались вместе и в ожидании, пока их примет царь Ирод, заняли со своей свитой все постоялые дворы и свободные жилища в Иерусалиме.

Новость эта привела меня в необычайное смятение. С детских лет я привык восхищаться царем Иродом и трепетать перед ним. Должно сказать, что весь Восток вот уже тридцать лет полнился слухами о его злодеяниях и подвигах, криками его жертв и звуками победных труб. Для меня,

кому со всех сторон угрожала смертельная опасность и чьей единственной защитой оставалась безвестность, было бы безумной дерзостью отдаться в руки тирана. Мой отец всегда держался на благоразумном расстоянии от этого страшного соседа. Никто не мог бы укорить царя Теодена в том, что он выказывает дружбу или, наоборот, враждебность по отношению к иудейскому царю. Но как вел себя с Иродом мой дядя Атмар? Действовал ли он без ведома иудейского царя, решив поставить его перед свершившимся фактом? Или все-таки, прежде чем произвести переворот, заручился его благосклонным невмешательством? Во всяком случае, мне ни разу не пришло в голову бежать в Иерусалим в роли свергнутого принца и просить у Ирода помощи и покровительства. В лучшем случае он заставил бы меня дорого заплатить за малейшую оказанную им услугу. В худшем — выдал бы меня узурпатору, использовав как разменную монету.

Вот почему, когда Бахтиар сообщил мне, что в столице Иудеи находятся два царя со свитой, я сначала решил держаться подальше от всей этой дипломатической суеты. Конечно, не без сожаления, потому что страшная и громкая слава Ирода и великолепие двух путешественников,

явившихся из пределов Счастливой Аравии, предвещали, что их встреча будет особенно торжественной. И пока я, разыгрывая благоразумие и равнодушие, толковал даже о том, что ради вящей безопасности следует немедля покинуть город, мой старый наставник, как по книге, читал по моему лицу, какую жгучую боль причиняет мне это самоотречение, навязанное горестной судьбой.

Первую ночь мы провели в жалком караван-сарае, где ютились не столько люди, сколько животные — эти последние служили первым, — и сквозь сморивший меня тяжелый сон я все-таки почувствовал, что Бахтиар куда-то отлучился и отсутствовал несколько часов. Он появился, когда заалел восход. Славный Бахтиар! Вечером и ночью он проявил чудеса изобретательности, чтобы избавить меня от сомнений, которыми я терзался. Да, я буду присутствовать на встрече царей. Но под чужим именем, чтобы Ирод не вздумал использовать меня в своих целях. Мой старый наставник обнаружил в свите царя Бальтазара — царь прибыл из Ниппура, расположенного в Восточной Аравии, — своего дальнего родственника. При его посредничестве Бахтиар был принят царем Бальтазаром и рассказал

ему нашу историю. Благодаря моей молодости я вполне мог сойти за юного принца, приближенного к царю в качестве пажа и пользующегося его покровительством. Это распространенный обычай, и, если бы в свое время моему отцу пришла в голову мысль послать меня к Ниппурскому двору, я с большой пользой для себя мог бы там подвизаться. Свита Бальтазара была столь многочисленна и блестяща, что меня в ней никто не узнал бы, в особенности в костюме пажа, который Бахтиар доставил мне по повелению царя. Вообще Бахтиару показалось, что старого государя даже позабавил этот маленький розыгрыш. Он вообще слыл человеком жизнерадостным, любителем литературы и искусства, и, как уверяли недоброжелатели, в его свите было больше фокусников и фигляров, нежели дипломатов и священников.

По возрасту и из-за своих несчастий я был склонен к нетерпимости, и мне трудно было понять и полюбить этого человека. Юность всегда готова обвинить зрелых людей в легкомыслии. Но доброта Бальтазара, его щедрость и в особенности обаяние, свойственное всей его повадке, рассеяли мое предубеждение. Я вдруг оказался, в пурпуре и шелке, равноправным членом группы золотой

молодежи, блиставшей той животной красотой, которой наделяет человека богатство, уходящее корнями в глубь времен. Счастье, наследуемое из поколения в поколение, придает людям особый аристократизм, сотканный из неведения, привычки получать даром все радости жизни, из готовности их принять, а также из затаенной жестокости — когда ее обнаруживаешь, она пугает, но она же усугубляет очарование. Эти молодые люди, похоже, составляли нечто вроде закрытого кружка, эмблемой которого был белый цветок нарцисса. При дворе даже вошло в привычку именовать их Нарциссами. Некоторые из них пользовались особенным уважением, потому что получили образование в Риме, но, несмотря на упадок Эллады, солью земли считались те, кто вырос в Греции, владел греческим языком и служил богам Олимпа. Вначале мне показалось, что Нарциссы совершенно беззаботны. Но мало-помалу я понял, и, должен сказать, меня это несколько покоробило, — что, наоборот, из вызова, почти неосознанного, они с глубочайшей серьезностью отдаются занятиям в моих глазах совершенно вздорным: музыке, поэзии, театру и даже состязаниям в силе и красоте.

Большинство из них были моими сверстни-

ками. Но, оттого что они были так откровенно счастливы, я вообразил, будто они намного меня моложе. Нарциссы приняли меня в свой круг так благосклонно, с таким тактом избегая вопросов о моем происхождении, что сомнений не было: им все объяснили. Нас поместили в пышных покоях восточного крыла дворца. С террас, похожих на ступени гигантской лестницы, за волнистой линией холмов Иудеи видны были белые дома Вифании, а еще дальше — отливающая голубоватой сталью поверхность Мертвого моря, словно бы лежащего в глубине пучины. На нижней террасе был висячий сад, где радовали глаз красные гроздья цератоний, розовые колосья тамариска, желтоватые щитки лавровых деревьев и где росло еще множество разных неведомых мне растений, вывезенных из глубин Африки и Азии.

Мне не раз представлялся случай побеседовать с глазу на глаз со старым царем Ниппура — Нарциссы веселой гурьбой рассыпались по Иерусалиму, исследуя сомнительные источники городских развлечений и оставляя нас с ним наедине. Царь с участливым любопытством расспрашивал меня о моем детстве и отрочестве, о нравах жителей Пальмиры. Его удивляла простота и даже суровость наших обычаев; судя по

всему, он усматривал в ней — хотя ход его рассуждений от меня ускользал — роковую причину моих несчастий. Неужели он вправду считал, что жизнь более утонченная оградила бы двор моего отца от поползновений моего дяди? Мало-помалу я понял, что, по мнению Бальтазара, если верхи культивируют изысканную речь и поклоняются прекрасному, это непременно находит отзвук на всех ступенях общества, пусть даже в формах менее благородных, однако для сохранения государства необходимых, а именно: в мужестве, в бескорыстии, в терпимости, в честности. К несчастью, фанатичное мракобесие возбуждало в соседях Бальтазара, да и в его собственной стране, иконоборческую ярость, которая обращала эти добродетели в их противоположность. Царь полагал, что, если бы он мог, как он того пламенно желал, окружить себя созвездием поэтов, скульпторов, живописцев, актеров, блеск этого маленького общества принес бы пользу самому жалкому прислужнику, самому последнему волопасу его царства. Но все его великие меценатские затеи наталкивались на бдительную враждебность священнослужителей, яро ненавидящих изображения. Он надеялся, что его Нарциссы, приобретя со временем влияние,

образуют аристократическое сословие, которое будет достаточно сильным, чтобы противостоять традиционалистским кругам в его столице. Но пока еще до победы далеко. Блеск Рима и Афин теряется за далеким горизонтом, а горизонт заслоняет Иудея — враждебное и суровое царство. Я понял, что мятеж, поднятый в отсутствие Бальтазара первосвященником Шеддадом, кончился разграблением художественных сокровищ царских коллекций. Это преступление, как видно, причинило царю глубокое горе и стало одной из причин того, что он пустился в нынешнее путешествие.

Я завязал дружбу с одним из спутников царя, молодым художником из Вавилона, которого царь любит едва ли не больше своих собственных сыновей. У Ассура и в самом деле какие-то колдовские пальцы. Мы болтаем, присев под деревом. В руках у Ассура появляется комок глины. Он рассеянно, даже не глядя, разминает его. И словно бы сама собой рождается фигурка. Это свернувшаяся клубком спящая кошка, или распустившийся цветок лотоса, или женщина, сидящая на корточках и уткнувшаяся подбородком в поднятые колени. Поэтому, когда мы с Ассуром вдвоем, я всегда слежу за его руками,

чтобы подглядеть, как в них рождается чудо. У Ассура нет бремени ответственности, которая лежит на царе Бальтазаре, чужды ему и рассуждения царя. Он рисует, пишет красками и лепит, подобно пчеле, собирающей мед. И однако он вовсе не лишен дара речи — наоборот. Просто, когда он говорит о своем искусстве, это всегда связано с конкретным произведением и как бы продиктовано им.

Так, однажды я видел, как он заканчивал женский портрет. Женщина была не молода, не красива, не богата — даже наоборот. Но что-то лучилось в ее глазах, в чуть заметной улыбке, во всем ее лице.

— Вчера, — рассказал мне Ассур, — я ходил к колодцу Пророка, тамошняя нория плохо подает воду, и она течет по капле, скупо и прерывисто, поэтому, когда наконец пробивается струйка прозрачной и свежей влаги, в теснящейся вокруг толпе начинается давка. Так вот, в толпе, в последних ее рядах, стоял старик калека, у него не было никакой надежды наполнить жестяной кубок, который он дрожащими руками протягивал к краю колодца. И тогда эта женщина, сама с великим трудом наполнившая свою амфору, подошла к старику и поделилась с ним водой.

Казалось бы, пустяк. Крохотное проявление дружелюбия в несчастном мире, где люди каждый день совершают великие и жестокие деяния. Но одно забыть невозможно: выражение лица женщины, появившееся с той минуты, как она увидела старика, и сохранившееся до тех пор, пока она не ушла, отлив ему воды. Это взволновавшее меня лицо врезалось в мою память, и потом, сосредоточившись, чтобы продлить его жизнь во мне, я сделал рисунок. Вот он. Что это? Беглый отблеск любви в жестоком бытии. Мгновение милосердия в безжалостном мире. Редкий и драгоценный миг, когда, по словам царя Бальтазара, подобие заключает в себе образ и оправдывает его.

Ассур замолчал, словно для того, чтобы дать мне время проникнуться этими туманными словами, а потом, передав мне свой рисунок, добавил:

— Понимаешь, Мельхиор, я видел памятники египетской архитектуры и греческие статуи. Художников, создавших эти шедевры, конечно, вдохновляли боги, да и сами они, наверно, были полубогами. Их мир озарен светом вечности, но, входя туда, ты тоже в каком-то смысле начинаешь чувствовать себя мертвецом. Да, нашей

жалкой оболочке, терзаемой болезнями и голодом, нет места ни в Гизехе, ни на Акрополе. И я согласен, если бы эта оболочка была всего только тем, что она есть; художника, который вздумал бы ее славить, нельзя было бы оправдать ничем, разве что извращенностью. Однако иногда появляется вдруг… вот это… — Ассур снова взял в руки свой рисунок. — Вот этот отблеск, эта благодать, вечность, растворенная в плоти, неразрывно связанная с плотью, просвечивающая сквозь плоть. И притом, пойми, ни один художник до сего дня не пытался воссоздать это средствами своего искусства. Я признаю: то, чего я жду, — истинная революция. Я даже спрашиваю себя: возможна ли революция столь всеобъемлющая? Вот почему мне понятно, чем вызваны вражда и гонения, жертвой которых становятся художники, и я готов терпеть. Надежда на то, что мы в конце концов одержим победу, очень мала, но я живу этой надеждой.

* * *

Мы прождали десять дней, прежде чем нам впервые удалось увидеть царя Ирода, но с самого приезда нас угнетало ощущение его присутствия. Как ни огромен был дворец, как ни многочислен-

на его прислуга, мы ни на мгновение не могли забыть, что мы в пещере крупного хищника, что он рядом, совсем близко, что он дышит одним воздухом с нами и днем и ночью обдает нас своим жарким дыханием. Иногда вокруг нас вдруг начиналась беготня, кто-то кого-то звал, открывались и захлопывались двери, солдаты собирались на зов трубы; это значило — невидимое чудовище шевельнулось и его движение всколыхнуло громадные волны, которые достигнут самых границ царства. Несмотря на окружающую нас роскошь, пребывание во дворце было бы непереносимым, если бы нас не снедало жгучее любопытство — оно непрестанно поддерживалось и усугублялось всем тем, что нам рассказывали о прошлом царя и о его нынешней жизни.

Ироду Великому шел семьдесят пятый год, тридцать лет минуло с тех пор, как началось его царствование — царствование, с первых дней ознаменовавшееся насилием и убийствами. Одним из проклятий, изначально тяготевших над Иродом, было то, что царь иудеев, величайший из всех известных до сих пор истории, сам не был иудеем и часть его подданных, та, что пользовалась наибольшим влиянием и отличалась особенной нетерпимостью, никогда его

не признавала. Семья Ирода происходила из Идумеи, гористой южной провинции, недавно покоренной и включенной в состав Иудейского царства Гирканом II. В глазах иерусалимских евреев идумейцы, эти дети Исава, силой обращенные в иудаизм, оставались варварами, кое-как сработанными, кое-как обрезанными и всегда подозреваемыми в склонности к язычеству. И то, что один из них поднялся на трон в Иерусалиме, было непостижимым и кощунственным вызовом. Ирод мог стать преемником Давида и Соломона только потому, что выслуживался перед римлянами, ставленником которых был, и женился на внучке Гиркана II, Мариамне, последней в роду Маккавеев. Этот брак, сыгравший такую судьбоносную роль в жизни идумеянина, который вначале не мог на него рассчитывать, вскоре лег на Ирода тяжелым бременем, потому что в глазах родителей жены, да и в глазах самой Мариамны и даже собственных детей — все они были более благородного происхождения, чем Ирод, — он продолжал оставаться выскочкой. Но у Ирода любое недоразумение всегда разрешалось кровавой баней. Свою неистребимую неполноценность — а Мариамна не упускала случая ему о ней напомнить — он топил в убий-

ствах и казнях, от которых никто не мог спастись, и в итоге остался единоличным властелином страны, ненавидимый собственным народом, сохраняющим верность династии Маккавеев.

Впрочем, Ирод и не старается щадить чувства иудеев-интегристов. Он разъезжает по всему Средиземноморью, перенимая космополитические, разносторонние взгляды. Он посылает своих сыновей учиться в Рим. Он любит искусства, игрища, праздники. Он хотел бы превратить Иерусалим в огромный современный город. Он строит здесь театр, посвященный Августу. Он украшает город парками, фонтанами, голубятнями, каналами, ипподромом. Иудеи отплевываются от этих кощунственных нововведений. Они обвиняют царя в том, что он восстанавливает в Иерусалиме обычаи, которые ввел ненавистный Антиох Епифан — будь проклята его память — и которые они целое столетие неукоснительно истребляли. Ироду и дела нет. Он дает деньга на строительство равно храмов, терм и триумфальных арок в Аскалоне, Родосе, Афинах, Спарте, Дамаске, Антиохии, Берите, Никополе, Акко, Сидоне, Тире, Библе. И повсюду велит увековечить имя императора. Он возрождает Олимпийские игры. Он наносит оскорбление иудеям, восстановив во

всем ее великолепии Самарию, разрушенную Маккавеями, и Кесарию, одержавшую победу над Иерусалимом и ставшую позднее местопребыванием римских правителей Палестины. И последняя капля в чаше издевательств: он оплачивает актеров, гладиаторов и атлетов иудейскими монетами — монетами, на которых нет никаких портретных изображений, только на лицевой стороне надпись — *Ирод-царь*, а на оборотной — рог изобилия.

Последняя эмблема, впрочем, вполне оправданна, ибо, если традиционалистские круги Иерусалима предают Ирода проклятьям, его ценят разбогатевшие горожане, чьи сыновья, воспитанные по греко-римскому образцу, ходят нагишом, отказавшись от обрезания, [7] в училищах, финансируемых из царской казны. Но особенно радуются начинаниям Ирода жители деревень и те иудеи, что живут за границей. Израильские землячества в Риме извлекают прибыль из прекрасных отношений, которые царь поддерживает с императором. Что касается Палестины,

[7] Примечания: 7

«Они построили в Иерусалиме училище по обычаю языческому, и установили у себя необрезание, и отступили от святого завета, и соединились с язычниками, и продались, чтобы делать зло» (1-я книга Манкавейская, 1:14–15).

то она наслаждается миром и процветанием, каких никогда не знала. На холмах и в долинах Иудеи тучнеют громадные стада овец, которые зимой кормятся люцерной — новшеством римского происхождения. На красных землях Палестины приносят обильный урожай посевы ячменя, пшеницы и виноградники. Фиговые, оливковые и гранатовые деревья плодоносят, почти не требуя труда земледельцев. Когда-то войны и беспорядки выгнали на дорогу целые толпы оторванных от привычной жизни крестьян. Ирод поручил им обрабатывать его собственные угодья. Низовья Иерихона, где было проведено искусственное орошение, стали образцовыми земледельческими хозяйствами. Соломон вывозил преимущественно оружие и боевые колесницы. Ирод умело извлекает прибыль из соли Содома, из асфальтов Мертвого моря, из залежей медных рудников Кипра, из драгоценных древесных пород Ливана, из гончарных изделий Вефиля, из росного ладана, который добывают в рощах бальзамических тополей, арендованных им у царицы Клеопатры, а после смерти царицы подаренных Августом иудейскому царю в награду. Полное подчинение Ирода императору привело к тому, что в Иудее нет ни одного римского солдата. И хотя царь

неукоснительно соблюдает запрещение вести войну, пусть даже оборонительную, он содержит целую армию наемников — галлов, германцев и фракийцев — и блестящую личную гвардию, по традиции набираемую в Галатии. И если Ирод не вправе использовать этих солдат за рубежами своего царства, можно сказать, увы, что внутри страны и даже в лоне собственной семьи он им не дает передышки.

Но великое деяние Иродова царствования, а также великая страница в истории его отношений с иудейским народом — это восстановление Храма.

В Иерусалиме было два храма. Первый, построенный Соломоном, был разграблен Навуходоносором, а несколько лет спустя разрушен до основания. Вторым, более скромным, иудеи особенно дорожили, хотя он был бедным и обветшал, но он был возведен в память возвращения из Изгнания и воплощал для них возрождение Израиля. Он-то и существовал в ту пору, когда Ирод пришел к власти, и царь решил снести его, чтобы построить новый. Само собой, иудеи сначала воспротивились замыслу царя. Они считали, что Ирод способен, разрушив старый храм, не выполнить своего обещания и не построить

новый. Но царь сумел их успокоить, и в конце концов они уверили себя, что идумеянин затеял это грандиозное строительство, дабы искупить свои преступления, и царь, конечно, не пытался развеять это благочестивое заблуждение.

А строительство и в самом деле было грандиозным — в нем было занято восемнадцать тысяч человек, но хотя освящение Храма состоялось, когда не прошло и десяти лет с начала работ, они до сих пор еще далеко не закончены, и, поскольку Храм и дворец прилегают друг к другу, на наших глазах взад и вперед снуют отряды рабочих, а в ушах у нас стоит непрестанный грохот. Надо признать, что эта гигантская строительная площадка как нельзя лучше соответствует атмосфере ужаса и жестокости, которая царит во дворце. Удары молота смешиваются с ударами хлыста, проклятья рабочих перемежаются стонами истязуемых, и, если выносят мертвое тело, никогда не знаешь, то ли это кто-то умер под пыткой, то ли каменолома придавила гранитная глыба. Мне думается, величие и свирепость редко бывали столь тесно сплетены.

Ирод, по-видимому, решил во что бы то ни стало развеять недоверие иудеев. Чтоб успешно завершить работы в тех частях Храма, которые

считаются священными, он приказал церковнослужителям научиться самим обтесывать камни и класть стены, и они работали, не снимая облачения. Богослужение не прерывалось ни на один день, ибо разрушали только то, чему уже была сооружена замена. Новое здание Храма огромно, и, вздумай я подробно описывать его великолепие, я бы никогда не кончил. Упомяну только «паперть язычников», громадную прямоугольную площадку в пятьсот локтей [8] шириной, где жители прогуливаются, болтают и делают покупки у торговцев, выставляющих здесь свой товар, — площадку эту можно сравнить с афинской Агорой или римским Форумом. Каждый человек при условии, что обувь у него чистая, что он не имеет при себе никакого оружия, даже палки, и что он не станет плевать на пол, вправе укрыться от дождя или солнца под окаймляющими паперть портиками с колоннадой и навесом из кедрового дерева. Посередине возвышается собственно храм — совокупность площадок, располагающихся одна над другой, самая верхняя — это Святая Святых, куда нельзя проникнуть под страхом смерти. Массивный металлический портал

[8] Примечания: 8
225 метров.

Храма увит золотым виноградом, каждая кисть которого — в рост человека. Он загорожен завесой из вавилонской ткани, расшитой драгоценным яхонтом, голубой, пурпурной и червленой нитью, символами огня, воды, воздуха и моря, и изображающей карту небесного свода. Наконец, я хочу упомянуть крышу, обведенную балюстрадой из резного белого мрамора и сложенную из золотых пластин, щетинящихся блестящими остриями, которые призваны отпугивать птиц.

Да, этот новый Храм — величайшее чудо, оно уравнивает Ирода с царем Соломоном, а может быть, даже возвышает над ним. Легко представить *себе*, какое смятение в мыслях принца, лишенного отцовского трона, какую бурю в душе осиротевшего сына вызвало зрелище подобного величия, могущества, но также и ужасающего злодейства.

Впрочем, я забыл обо всем этом, когда на десятый день нам объявили, что по приказанию царя главный хранитель печати приглашает нас на ужин, который будет дан вечером в Большом тронном зале. Мы были уверены, что Ирод явится туда, хотя в приглашении об этом не упоминалось, словно тиран желал до самой последней минуты быть окутанным покровом тайны.

И однако — решусь ли я признаться? Войдя в зал, я сначала не увидел и не узнал Ирода! Я полагал, что он явится позже, самым последним, чтобы торжественней обставить свое появление. Но оказалось, что это противоречит законам иудейского гостеприимства, которые требуют, чтобы хозяин был на месте и принимал приглашенных. Правда, царь, возлежавший среди горы подушек на диване черного дерева, занят был беседой, по-видимому совершенно конфиденциальной, с седым как лунь старцем, возлежавшим с ним рядом; благородное чистое лицо старца составляло разительный контраст с изможденной кривляющейся маской — лицом Ирода. Потом мне объяснили, что старец — знаменитый Менахем, ессейский ясновидец, толкователь снов и некромант, к которому Ирод то и дело обращается за советом с тех пор, как Менахем, хлопнув по плечу пятнадцатилетнего Ирода, назвал его царем иудейским. Но, повторяю, не подозревая, что Ирод присутствует в зале, я вначале увидел только отсвет целого леса пылающих факелов, тысячекратно повторенный в серебряных блюдах, хрустальных графинах, золотых тарелках и сардониксовых кубках.

Раздвинув толпу служителей, хлопотавших

вокруг низких столиков и диванов, домоправитель бросился навстречу кортежу, во главе которого шествовали Бальтазар и Каспар и в котором смешались две свиты, соответственно белая и черная, — несмотря на этот беспорядок, их было так же легко отличить друг от друга, как два туго сплетенных, но разнящихся цветом шнура. Оба царя заняли почетные места справа и слева от центрального ложа, где беседовали Ирод и Менахем, а я удобно устроился чуть поодаль, между моим наставником Бахтиаром и юным Ассуром, лицом к свободному пространству в форме подковы, отделявшему столы от громадного распахнутого окна, в которое виден был уголок ночного и таинственного Иерусалима. Нам подали ароматизированное вино с золотистыми скарабеями, поджаренными в соли. Три арфистки сопровождали гармоничными и однообразными звуками музыки гул разговоров и громыханье посуды. Огромный желтый пес, явившийся невесть откуда, вызвал смятение и смех, но потом был уведен рабом. Маленький кудрявый человечек, круглолицый, розовощекий и уже не слишком юный, в белой тунике, расшитой цветами, держа под мышкой лютню, согнулся в поклоне перед ложем Ирода. Ирод прервал беседу, на мгновение

взглянул на него, потом бросил: «Хорошо, но позже». Это был восточный сказитель Сангали, явившийся с Малабарского берега. И в самом деле, время для разговоров настало позднее — сначала нам предстояло приступить к трапезе. Двери распахнулись настежь, давая дорогу тележкам, уставленным блюдами и кастрюлями. По обычаю, гостям предлагались все яства сразу. Здесь была печень речной камбалы, смешанная с молокой миног, павлиньи и фазаньи мозги, глаза муфлонов и языки верблюжат, ибисы, фаршированные имбирем, и главное угощенье — громадное блюдо с рагу, в коричневом и еще клокочущем соусе которого плавали гениталии кобыл и быков. Обнаженные руки с крючковатыми пальцами потянулись к блюдам. Челюсти задвигались, зубы перемалывали пищу, адамовы яблоки глотающих ходили ходуном. Меж тем три арфистки продолжали извлекать из своих инструментов воздушные аккорды. Домоуправитель движением руки заставил их умолкнуть, когда прислужники внесли большую стальную раму, пересеченную дюжиной вертелов, на которых жарились, истекая жиром, птицы с мясистой белой плотью. Ирод прервал беседу и молча усмехнулся в свою жидкую бороду. Выложив

птиц на блюда, вертельщики острыми ножами разрезали каждую из них надвое. Птицы были начинены черными конусообразными грибами.

— Друзья мои! — воскликнул Ирод. — Приглашаю вас воздать должное этому изысканному блюду, историческому и символическому, какое я без колебаний почту званием национального блюда в царстве Ирода Великого. Изобрела его нужда лет тридцать тому назад. И случилось это вскоре после начала войны, которую по наущению царицы Клеопатры я вел с царем арабов Мальхусом. Землетрясение в считанные минуты превратило Иудею в груду развалин, погибли тридцать тысяч жителей и великое множество скота. Только грифам и арабам эта катастрофа пошла на пользу. Мою армию, стоявшую лагерем под открытым небом, землетрясение пощадило. Тем не менее я тотчас послал к Мальхусу гонцов с предложением мира, объяснив ему, что в нынешних обстоятельствах найдутся дела поважнее, чем война. Но Мальхус желал воспользоваться удобным случаем: убив моих посланцев, он тотчас напал на меня. Это было чудовищно. Ведь это я спас его от рабства, которым ему угрожала Клеопатра. Чтобы добиться мира, я тогда заплатил двести талантов и дал поручительство на такую

же сумму, а Мальхусу это не стоило ни гроша. И вот вам! Считая, что после землетрясения я обескровлен, Мальхус повел на меня свои войска. Я не стал дожидаться его нападения. Я перешел Иордан и нанес ему молниеносный удар. В трех сражениях я разгромил его армию. И, само собой, отверг все переговоры, все попытки выкупить пленных. Я желал добиться и добился безоговорочной капитуляции.

В этих-то драматичных и славных обстоятельствах мои повара, у которых иссякли все запасы, подали мне однажды птицу, фаршированную жареными грибами. Птица была грифом, грибы — вороночниками, прозванными «трубы мертвых». Я посмеялся. Отведал. Блюдо оказалось восхитительным! Я взял слово с моих поваров, что в следующий раз мне подадут жаркое из самого Мальхуса, хотя мы и блюдем запрет есть свинину.

Царская шутка вызвала громовой хохот гостей. Сам Ирод смеялся тоже, схватив обеими руками жареного грифа, которого ему подал служитель. Все последовали примеру царя. Кратеры наполнились вином. Некоторое время слышен был только хруст костей. Позднее по столам пущены были блюда с пирожными на меду, с грудами

гранатов, винограда, инжира и плодов манго. И тут, перекрывая общий гул, вновь раздался голос царя. Ирод вызывал восточного сказителя, который уже подходил к нему в начале пиршества. Сказителя привели. Его простодушный и хрупкий облик контрастировал с сытыми и свирепыми лицами окружающих. Можно было подумать, что его откровенная бесхитростность возбуждает злобу Ирода.

— Сангали, раз уж тебя так зовут, ты расскажешь нам сказку, — приказал царь. — Но берегись, не коснись и намеком каких-нибудь государственных тайн! Помни, ты рискуешь обоими ушами. Если ты дорожишь своим правым ухом, приказываю тебе…

Казалось, царь долго обдумывал, что бы такое приказать. И когда он закончил фразу, в зале загремел восторженный смех.

— …рассмешить меня. А если дорожишь левым, приказываю рассказать мне историю про царя, да, про царя, очень мудрого и доброго, но которого снедает беспокойство о том, кто наследует его престол… Итак, вот тебе тема: состарившийся царь беспокоится о том, кто станет его наследником. Если ты вздумаешь завести речь о чем-нибудь другом и не сумеешь меня рассмешить, выйдешь

отсюда без ушей, как когда-то Гиркан II, которому его племянник Антигон самолично откусил уши, чтобы помешать тому сделаться первосвященником.

Воцарилось молчание.

— Царь, о котором ты хочешь услышать, — бесстрашно заговорил Сангали, — звался Златобород.

— Пусть будет Златобород! — согласился Ирод. — Послушаем историю про Златобородa и наследников его престола, ибо знайте, друзья мои, ничто не волнует меня сегодня так, как дела, связанные с престолонаследием.

Златобород, или Престолонаследие

Жил однажды в Счастливой Аравии, в городе Шамуре, царь по имени Навунасар III, который был знаменит своей бородой — кудрявая, струящаяся, она вся так и переливалась золотом и заслужила царю прозвище Златобород. Царь холил и лелеял свою бороду так, что даже прятал ее на ночь в шелковый чехольчик, а утром ее извлекали оттуда, чтобы вверить искусным рукам брадобрейш. Ибо следует знать, что, если брадобреи орудуют бритвой и знай себе кромсают бороды, брадобрейши, напротив, управляются только с помощью гребня, щипцов для завивки и пульверизатора и не отстригут у своего клиента ни единой волосинки.

Навунасар Златобород, который в юности отпустил бороду просто так, скорее по небрежности, нежели обдуманно, с годами все больше ценил этот придаток своего подбородка и даже стал усматривать в нем какой-то магический смысл. Он видел в бороде едва ли не символ своей царственности и даже вместилище своего

могущества.

Царь неустанно любовался в зеркале своей золотистой бородой, с удовольствием пропуская ее сквозь унизанные перстнями пальцы.

Народ Шамура любил своего государя. Но царствование его длилось уже более полувека. А правительство, которое по примеру своего властелина нежилось в безмятежном довольстве, все откладывало необходимые реформы. Государственный совет собирался лишь раз в месяц, и охранявшие его стражники слышали из-за запертой двери, как министры обмениваются одними и теми же фразами, делая между ними долгие паузы:

— Не худо бы что-то предпринять.

— Да, но спешить не следует.

— Пока еще рано.

— Повременим.

— Самое важное — выждать.

И они расходились, поздравив друг друга, но так ничего и не решив. Одним из главных послеобеденных занятий царя — а царь обедал долго, неторопливо и сытно — был отдых, во время которого Навунасар спал глубоким сном почти до самого вечера. Причем спал он на свежем воздухе, на открытой террасе, затененной сплетенными

ветвями аристолохий.

Но за последние месяцы Златобород утратил прежний душевный покой. И не потому, что его смутили укоры советников или ропот народа. Нет. Тревога государя вызвана была другой причиной — более возвышенной, более серьезной, одним словом, более царственной: впервые в жизни царь Навунасар, любуясь собой в зеркале, которое, завершив его туалет, подала ему брадобрейша, обнаружил в золотистом потоке своей бороды седой волос.

Этот седой волос поверг царя в глубокое раздумье. «Значит, я старею, — размышлял он. — Конечно, этого надо было ждать, но теперь это свершившийся факт, столь же неоспоримый, как этот седой волос. Что делать? Чего не делать? У меня появился седой волос, но зато наследника у меня нет. Я был дважды женат, но ни одна из цариц, по очереди деливших со мной ложе, не сумела подарить моему царству наследного принца. Необходимо принять решение. Но не будем спешить. Мне нужен наследник, — может, стоит усыновить какого-нибудь ребенка? Но такого, который будет похож на меня, — похож как две капли воды. Однако при этом будет молод, много моложе меня. Нет, пока еще рано. Повременим.

Самое важное — выждать».

Сам того не ведая, царь повторял, таким образом, обычные фразы своих министров и засыпал, грезя о крошке Навунасаре IV, который будет походить на него, как маленький брат-близнец.

Но вот однажды днем царь внезапно проснулся, почувствовав довольно болезненный укол. Он инстинктивно схватился за подбородок — кольнули его именно сюда. Ничего. И крови нет. Царь ударил в гонг. Вызвал брадобрейшу. Приказал ей принести большое зеркало. Погляделся в него. Смутное предчувствие не обмануло царя: седой волос исчез. Воспользовавшись царским сном, чья-то кощунственная рука осмелилась нарушить неприкосновенность его волосяного придатка.

Неужели седой волос и вправду вырван? Может, он просто прячется в густых зарослях бороды? Царь недаром задал себе этот вопрос — наутро, когда брадобрейша, исполнив свои обязанности, подала царю зеркало, седой волос оказался на месте, являя взгляду свою неопровержимую белизну и выделяясь серебряной жилой в медной руде.

В этот день Навунасар предался обычному послеобеденному сну в полной душевной смуте, порожденной заботами о престолонаследии и

таинственной историей с его бородой. Царю и в голову не приходило, что два этих вопроса на самом деле составляют один и ответ на них дан будет одновременно…

Итак, не успел Навунасар III забыться сном, как его разбудила острая боль в подбородке. Он вздрогнул, позвал на помощь, приказал принести зеркало: седой волосок исчез опять!

Наутро волосок появился снова. Но на этот раз царь не обманулся. Можно даже сказать, что он сделал большой шаг на пути к истине. Дело в том, что от царя не укрылось: волос, который накануне находился слева под подбородком, появился теперь справа и значительно выше — почти на уровне носа, а поскольку бродячих волосков не бывает, напрашивался вывод, что речь идет о *другом* седом волоске, который появился ночью, ибо, как известно, волосы любят седеть под покровом темноты.

В этот день, собираясь задремать на террасе, царь уже знал, что произойдет; и вправду, не успел он закрыть глаза, как тотчас снова открыл их, почувствовав укол на щеке в том месте, где в последний раз обнаружил седой волос. Царь даже не потребовал зеркала, он был уверен, что волосок снова вырван.

Но кем же, кем?

Теперь это происходило ежедневно. Царь давал себе слово, что не уснет под ветвями аристолохий. Он делал вид, будто спит, и, прикрыв глаза, поглядывал вокруг из-под полуопущенных век. Но, притворяясь спящим, трудно не уснуть на самом деле. Тюк! Боль пробуждала его от глубокого сна, но, прежде чем он успевал открыть глаза, все уже было кончено.

Но нет на свете бороды, которая была бы неистощимой. Каждую ночь один из золотистых волосков становился седым, а на другой день после полудня его вырывали. Брадобрейша не смела ничего сказать, но царь видел сам: по мере того как редеет борода, его лицо покрывается горестными морщинами. Он смотрелся в зеркало и, поглаживая остатки золотистой бороды, разглядывал очертания собственного подбородка, которые все отчетливей проступали сквозь редеющее руно. Но, как ни странно, эта метаморфоза ничуть его не огорчала. Под стиравшейся маской величавого старца обозначались пусть более резкие, более выраженные, но черты того безбородого юноши, каким он когда-то был. И в то же время вопрос о наследнике престола начинал ему казаться не таким уж срочным.

Когда на царском подбородке осталась всего какая-нибудь дюжина волосков, он всерьез задумал отставить своих седовласых министров и самому взять в руки бразды правления. И вот тут-то дело приняло новый оборот.

Может, обнаженные щеки и подбородок царя стали более чувствительны? Так или иначе, теперь он, бывало, просыпался от легкого дуновения за какую-нибудь долю секунды до того, как исчезал появившийся утром седой волос. А однажды наконец царь увидел. Что же он увидел? Прекрасную белую птицу, белоснежную, как та белоснежная борода, какой у него никогда не будет, — птица улетала прочь, унося в клюве седой волосок, вырванный из царского подбородка. Таким образом, все объяснилось: птица хотела свить гнездо того же цвета, что ее оперение, и не нашла ничего белоснежнее седых волос царской бороды.

Навунасар обрадовался своему открытию, но ему хотелось разузнать о птице больше. Времени терять было нельзя — на его подбородке остался всего один волосок, и этот белоснежный волосок был последней приманкой для прекрасной птицы. Можно себе представить, с каким волнением расположился царь в этот день на отдых под

шатром аристолохий. Надо было снова притвориться спящим, но не уснуть. А обед в этот день был особенно обильным, вкусным, после него клонило в сон, воистину царственный сон. Навунасар III героически боролся с забытьём, которое накатывало на него благодатными волнами, и, чтобы не заснуть, поглядывал на белоснежный волосок на подбородке, курчавившийся в жарком свете дня. Право слово, он забылся всего на миг, на короткий миг, и очнулся от того, что его щеки мимолетно коснулось ласковое крыло, а подбородок кольнуло. Царь протянул руку, дотронулся до чего-то мягкого, трепетного, но пальцы, сжавшись, схватили пустоту, а когда царь открыл глаза, он увидел лишь черную тень белой птицы против красного солнца, тень чтицы, которая улетала прочь, с тем чтобы никогда не возвратиться, ведь она уносила в своем клюве последний волосок царской бороды!

Царь в ярости вскочил, готовый уже призвать своих лучников и приказать им доставить ему птицу, живую или мертвую. Жестокий неразумный порыв раздосадованного властителя! Но вдруг Навунасар увидел, что в воздухе парит, опускаясь на землю, что-то белое: это было перо, белоснежное перо, которое он, очевидно, вырвал

из крыла птицы, когда дотронулся до нее. Перо медленно опустилось на плиты террасы, и тут царь стал свидетелем поразившего и взволновавшего его чуда: перо мгновение полежало спокойно, потом повернулось вокруг своей оси и указало острием в сторону… Да, маленькое перышко, лежавшее на плитах террасы, дрогнуло, как магнитная стрелка компаса, но в отличие от этой стрелки повернулось не к северу, а в ту сторону, куда улетела птица.

Царь наклонился, поднял перо и положил его к себе на ладонь. Перышко снова дрогнуло и указало на юг — юго-запад, в ту сторону, куда скрылась птица.

Это был знак, приглашение. Навунасар, все так же держа перышко на ладони, сбежал по лестнице дворца, не обращая внимания на почтительные приветствия придворных и слуг, встретившихся ему на пути.

Зато когда он очутился на улице, его, казалось, уже никто не узнавал. Прохожим даже в голову не приходило, что этот безбородый человек в простых шароварах и короткой куртке, который бежит куда-то, держа на ладони белое перышко, — их величавый государь Навунасар III. Может, все дело было в том, что такое необычное

поведение нельзя было совместить с царственным достоинством? А может, дело было совсем в другом, например, в том, что помолодевший царь преобразился до неузнаваемости? Навунасар не задавал себе такого вопроса, хотя вопрос этот был первостепенной важности. Царь был всецело занят тем, чтобы не уронить перышко и следовать его указаниям.

Долго бежал таким образом царь Навунасар III — впрочем, может быть, следовало бы уже сказать: бывший царь Навунасар III? Он покинул пределы Шамура, миновал возделанные поля, очутился в лесу, поднялся в гору, спустился по ее склону, перешел реку по мосту, потом другую вброд, потом пересек пустыню и снова перевалил через гору. Он бежал и бежал, но при этом не чувствовал особенной усталости, что было весьма странно для человека преклонных лет, довольно тучного и избалованного бездельем.

Наконец он очутился в роще под большим дубом, на крону которого указало вставшее торчком белое перо. На самом верху, на ветвях, лежал ворох прутиков, а в этом гнезде — ибо это было гнездо — беспокойно возилась прекрасная белая птица.

Навунасар рывком ухватился за нижнюю вет-

ку, оттолкнувшись ногами от земли, взобрался на нее, уселся, тут же встал, проделал то же самое со следующей веткой и так карабкался все выше и выше, ловкий и легкий, как белка.

Он быстро очутился на вершине. Испуганная птица упорхнула. И царь увидел ободок из веточек, окаймляющий белоснежное гнездо, аккуратно сплетенное из седых волосков, в которых Навунасар без труда узнал волоски из своей бороды. А в гнезде лежало яйцо, прекрасное яйцо такого же золотистого цвета, как когда-то борода царя Златоборода.

Царь отделил гнездо от ветки и начал спускаться вниз, хотя это было совсем нелегко, ведь одна его рука была занята хрупкой ношей. Не раз он уже хотел выбросить гнездо, а когда ему оставался какой-нибудь десяток метров до земли, он, потеряв равновесие, едва не упал. Но наконец он спрыгнул на мшистую землю. И сразу зашагал в ту сторону, где, по его представлениям, находился его родной город. Не прошло и нескольких минут, как у него произошла удивительная встреча. Он увидел пару сапог, над ними толстый живот, а еще выше шляпу сторожа охотничьих угодий — настоящего лесного великана. Великан рявкнул громовым голосом:

— Ах ты, маленький негодник! Разоряешь гнезда в царском лесу?

Маленький негодник? Как можно было так назвать старого царя! И вдруг Навунасар понял, что и в самом деле сделался совсем маленьким, худеньким и ловким, вот почему он мог без устали бежать несколько часов подряд и карабкаться по деревьям. И теперь ему не составило труда юркнуть в заросли и удрать от сторожа, который был неповоротлив из-за громадного роста и большого живота.

Чтобы попасть в Шамур, надо пройти мимо кладбища. И тут маленькому Навунасару преградила путь многолюдная нарядная толпа, сопровождавшая роскошный катафалк, который везли шесть черных лошадей — великолепные животные, украшенные темными султанами и покрытые попоной с серебряными слезами.

Навунасар несколько раз спросил, кого хоронят, но люди, пожимая плечами, не отвечали, словно вопрос казался им слишком глупым. Царь заметил только, что катафалк украшен гербами с буквой «Н», увенчанной короной. В конце концов Навунасар спрятался в часовне на другом конце кладбища, положил рядом с собой гнездо и, обессилевший, уснул на чьем-то надгробии.

Солнце уже палило вовсю, когда на другой день он снова пустился в путь к Шамуру. К его удивлению, главные ворота города оказались закрыты, что было необычно в такое время дня. Должно быть, ждали какого-нибудь важного события или приезда знатного гостя, потому что только в таких чрезвычайных случаях главные городские ворота запирали, а потом торжественно отпирали. В удивлении и нерешительности стоял Навунасар перед высокой оградой, по-прежнему держа в руке белое гнездо, как вдруг лежавшее в нем золотистое яйцо раскололось надвое и оттуда выпорхнула маленькая белая птица. Она запела чистым и звонким голоском: «Да здравствует наш царь! Да здравствует наш новый царь Навунасар Четвертый!»

Тяжелые ворота медленно растворились. От них до самых ступеней дворца по земле был расстелен красный ковер. Справа и слева от него теснилась праздничная толпа, и, когда мальчик с гнездом в руках зашагал ко дворцу, все стали восклицать, повторяя за белой птицей: «Да здравствует наш царь! Да здравствует наш новый царь Навунасар Четвертый!»

Царствование Навунасара IV было долгим, мирным и счастливым. Две царицы сменились

на его ложе, но ни одна из них не родила ему наследника. Однако царь, помнивший о маленьком приключении в лесу, где он преследовал белую птицу, похищавшую волосы из его бороды, нисколько не беспокоился о наследнике. Пока по прошествии многих лет это воспоминание не начало изглаживаться из его памяти. К тому времени его щеки и подбородок стали зарастать прекрасной золотистой бородой.

Ирод Великий

Слушая эту маленькую сказку, Ирод несколько раз разражался смехом, и все его министры и придворные послушно вторили ему, так что обстановка разрядилась, и Сангали мог больше не беспокоиться о своих ушах. Он поклонился до земли и каждый раз, когда к его ногам падал очередной кошелек, в знак благодарности брал аккорд на своей лютне. А потом ушел с широкой улыбкой на просветлевшем румяном лице.

Но смех не идет Ироду. Его измученная болезнями и кошмарами плоть не переносит такого рода судорог. Скорчившись в мучительных конвульсиях, он пригнулся к плитам триклиниума. Тщетно хлопочут вокруг него окружающие. И каждый невольно спрашивает себя: «Что, если деспот умрет? Как трудно будет решить запутанный вопрос о том, кто должен ему наследовать, ведь у него было десять жен, а дети разбросаны по всему свету!» Престолонаследие… Сам царь навязал Сангали эту тему. Стало быть, он все время об этом думает. И вот Ирод хрипит с открытым ртом, закрыв глаза. Его сотрясает дрожь. А потом

его рвет на плиты зала, и блевотина напоминает о съеденных на пиршестве яствах. Подставить царю таз никто не решается. Это значило бы нанести оскорбление царственной блевотине, от которой никто не вправе отвернуться. Ирод поднимает мертвенно-бледное, с прозеленью, залитое потом лицо. Он пытается заговорить. Жестом приказывает окружающим полукругом обступить его ложе. Потом издает какой-то нечленораздельный звук. Делает новое усилие. Наконец из звуковой мешанины, слетающей с его губ, начинают выделяться слова.

— Я царь, — говорит он, — но я умираю в одиночестве и отчаянии. Вы видели — я больше не могу есть: мой порченый желудок извергает все, что ему посылает мой рот. И притом я голоден. Я умираю от голода! Наверно, там еще осталось немного рагу, половина грифа, огурцы с цитронами или несколько сонь в топленом сале, пользуясь которым иудеи обходят Моисеев закон. Дайте мне поесть, ради всего святого!

Обезумевшие слуги мчатся на зов царя с корзинами пирожных, с полными тарелками, с блюдами плавающих в соусе яств.

— Если бы дело было только в желудке! — продолжает Ирод. — Нет, все мои внутренности

горят адским пламенем. Когда я испражняюсь, подо мной оказывается гнойная кровавая лужа, где кишат черви. Всю оставшуюся жизнь я буду выть от боли.

Но я исступленно цепляюсь за эту жизнь, потому что у меня нет наследника. Иудейскому царству, которое я создал и которое держу в руках вот уже скоро сорок лет, царству, которое процвело благодаря мне, ибо я обеспечил ему такой длительный мир, какого не знала история человечества, еврейскому народу, столь щедро одаренному, но ненавидимому другими народами за его гордыню, за нетерпимость, за спесь, за жестокость его законов, земле, которую я украсил дворцами, храмами, крепостями и виллами, — увы, всему этому — этим людям, этим вещам — суждена жалкая гибель, ибо нет другого властителя, который был бы равен мне силой и дарованиями! Господь не ниспошлет иудеям второго Ирода!

Он долго молчит, понурив голову, так что видна только тройная золотая корона на его голове, а когда поднимает лицо, гости с ужасом видят, что оно залито слезами.

— Ты, Каспар из Мероэ, и ты, Бальтазар из Ниппура, и ты, малыш Мельхиор, укрывшийся

под ливреей пажа за спиной царя Бальтазара, я обращаюсь к вам, ибо вы одни достойны меня выслушать при этом дворе, где я вижу только клятвопреступных военачальников, нерадивых министров, продажных советников и интриганов придворных. Почему вокруг меня все развращено? Ведь раззолоченные подонки, быть может, были вначале честными, во всяком случае, ни хуже, ни лучше остального человечества. Беда в том, что власть развращает. Это я, всемогущий Ирод, против своей воли, против их собственной воли превратил этих людей в предателей. Ибо власть моя огромна. Вот уже сорок лет я рьяно пытаюсь упрочить ее и усовершенствовать. Мои лазутчики рыщут повсюду, да и сам я иногда по ночам хожу, переодетый, по городским притонам и лупанариям, чтобы послушать, что там говорится. Всех вас, кто бы вы ни были, я вижу насквозь, как если бы вы были из стекла. Мне известны все подробности того, как был разрушен твой Бальтазареум, царь Бальтазар, — хочешь знать имена виновников, можешь получить у меня список. Ты проявил в этом деле жалкую мягкотелость. Надо было карать, о господи, карать и снова карать, а ты вместо этого поседел от горя.

Ты любишь скульптуру, живопись, рисунок —

изображение. Я тоже. Ты знаток греческого искусства. Я тоже. Ты сталкиваешься с дурацким фанатизмом иконоборцев-священников. Я тоже. Но выслушай историю орла, украшавшего Храм.

Третий Храм Израиля, самый большой из всех и самый прекрасный, должен увенчать мою жизнь. Ценой огромных жертв создал я творение, которое было не по плечу ни одному из моих предшественников-асмонеев. Я был вправе ожидать от моего народа, и в особенности от фарисеев и священников, безграничной благодарности. На фронтоне главного входа в Храм я приказал водрузить парящего орла с распростертыми крыльями — золотого орла, размах крыльев которого достигал шести локтей. Почему я выбрал эту эмблему? Да потому, что в двух десятках строф Священного Писания о нем говорится как о символе могущества, великодушия и верности. И еще потому, что это эмблема Рима. Таким образом золотой орел прославлял два столпа цивилизации — библейскую традицию и величие Рима, а потомки должны будут признать, что вся моя политика была направлена на то, чтобы их сблизить. Так что простить преступление, связанное с этим делом, было невозможно. Болезнь и муки мои в ту пору достигли высшей точки. И

лекаря отправили меня в Иерихон принимать теплые сернистые ванны. В один прекрасный день по Иерусалиму распространились вдруг неизвестно откуда взявшиеся слухи о моей смерти. И тут же двое фарисейских ученых, Иуда и Маттафия, собрав своих учеников, объяснили им, что необходимо сокрушить эмблему, которая нарушает вторую заповедь, воплощает образ греческого Зевса и символизирует римское присутствие. Средь бела дня, когда на паперти язычников кишит народ, молодые люди вскарабкались на крышу Храма, с помощью веревок добрались до фронтона и топором изрубили на куски золотого орла. Горе им, ибо Ирод Великий не умер — отнюдь! Стражи Храма и солдаты бросились к осквернителям. Арестовали и их, и тех, кто их подстрекнул. Всего человек сорок. Я повелел доставить их в Иерихон для допроса. Суд происходил в большом городском театре. Я присутствовал на нем, лежа на носилках. Судьи вынесли приговор: двое ученых мужей прилюдно сожжены, осквернители обезглавлены.

Вот, Бальтазар, как должен защищать шедевры царь, любящий искусство.

Что до тебя, Каспар, то я куда больше тебя знаю о твоей Бильтине и о ее дружке-мошеннике.

Всякий раз, когда ты обнимал свою белокурую красавицу, один из моих соглядатаев прятался за занавеской или под царским ложем в твоей опочивальне и наутро посылал мне обо всем полный отчет. Твоя доверчивость еще более преступна, если это возможно, чем снисходительность Бальтазара. Как! Рабыня обманывает тебя, унижает, выставляет на всеобщее посмешище — и ты щадишь ее жизнь! Ты любишь ее белоснежную кожу, говоришь ты? Что ж, тебе следовало ее сохранить! Я пошлю тебе мастеров, которые искусно сдирают кожу с узников, наматывая ее на ореховые палочки!

А ты, Мельхиор, — какой же ты простак, если воображаешь, что можешь явиться в мою столицу, проникнуть в мой дворец и даже оказаться за моим столом под чужим именем. Ты что же, решил, что ты в караван-сарае? Знай же, ни одна подробность твоего бегства из Пальмиры вдвоем с наставником не ускользнула от моих шпионов, мне известен каждый этап вашего пути и даже каждое слово, каким вы обменялись со встречными путешественниками: все они у меня на жалованье. От моей доброй воли зависело предупредить тебя о перевороте, который готовил твой дядя Атмар на другое утро после смерти твоего

царствующего отца. Я тебя не предупредил. Почему? Потому что законы морали и справедливости неприложимы к власти. Кто знает, а вдруг твой дядя — я согласен, в глазах обывателя он предатель и убийца, — так вот, вдруг твой дядя будет лучшим государем, более полезным для своего народа и, главное, лучшим союзником царя Ирода, чем ты? Он хотел погубить тебя? Он был прав. Он не должен терпеть, чтобы за пределами его страны существовал законный наследник трона, на котором сидит он сам. Скажу тебе откровенно, он разочаровал меня, допустив изначально ошибку и дав тебе уйти. Ладно! Я принял решение не вмешиваться в это дело и не стану вмешиваться. Можешь ходить и ездить по Иудее — официально я признаю в тебе Нарцисса из свиты царя Бальтазара. Но вообще-то ты, потерявший трон и жаждущий его вернуть, раскрой пошире глаза, навостри уши. И, глядя на меня, усвой жестокий закон власти. В чем состоит этот закон? Как его сформулировать? Возьмем, к примеру, возможность, о которой я только что упомянул: предположим, я предупредил вас, тебя и твоего отца, царя Теодена, что принц Атмар подготовил все, чтобы убить тебя, как только царь умрет. Может, это правда, а может, я солгал. Проверить

мои слова невозможно, понял — *невозможно.* Это роскошь, которую вы с отцом позволить себе не можете. Надо действовать, и притом не откладывая. Но как? Нанеся удар первыми. Подослав убийц к Атмару. Таков закон власти — при малейшем подозрении наносить удар первым. Я всегда неукоснительно придерживался этого закона. Закон этот жесток, он создал вокруг меня зловещую пустоту. И если посмотреть на мою жизнь, плоды его двойственны. Я прожил дольше всех восточных владык, я самый богатый из них и как никто облагодетельствовал свой народ. И я же самый несчастный человек на земле, никого другого так не предавали друзья, не обманывали жены, не ослушивались дети, ни в ком другом за всю историю человечества не видели такого ненавистного деспота.

Ирод на мгновение умолкает, а когда начинает говорить вновь, голос его так тих, что гостям приходится напрячь весь свой слух, чтобы расслышать.

— Самое дорогое мне на свете существо звали Мариамна. Я говорю не о дочери первосвященника Симона, на которой я женился третьим браком просто потому, что она тоже звалась Мариамна. Нет, я говорю о первой, неповторимой, един-

ственной женщине моей жизни. Я был молод и пылок. Я шел от победы к победе. Когда разразилась беда, я только что успешно выпутался из самой дьявольской передряги, в какую мне когда-либо случалось попадать.

Тринадцать лет спустя после убийства Юлия Цезаря соперничество Октавиана и Антония за господство над миром превратилось в смертельную вражду. Разум склонял меня в пользу Октавиана, владыки Рима. Мое географическое положение — поскольку я был соседом и союзником египетской царицы Клеопатры — толкнуло меня в объятия Антония. Я уже набрал армию и устремился было на помощь Антонию против Октавиана, но Клеопатра, обеспокоенная моим растущим влиянием на Антония — а она хотела снискать его расположение за мой счет, — не дала мне вмешаться в схватку. Она заставила меня повернуть мои войска против ее старинного врага — арабского царя Мальхуса. Интригуя против меня, Клеопатра меня спасла. Ибо второго сентября Октавиан разбил Антония при Акциуме на побережье Греции. Для Антония, Клеопатры и их союзников все было кончено. Все было бы кончено и для меня, если бы я подоспел, как собирался, на помощь Антонию. Теперь мне

оставалось одно: совершить поворот, что было делом довольно щекотливым. Начал я с того, что помог римскому наместнику в Сирии разгромить войско преданных Антонию гладиаторов, которые пытались пробиться в Египет, куда он бежал. После чего я отправился на остров Родос, где пребывал Октавиан. Я не пытался его обманывать. Напротив, я представился ему как верный друг Антония, который помогал ему всем, чем мог деньгами, продовольствием, войсками, но главное — советами, добрыми советами, бросить Клеопатру, которая влечет его к гибели, и даже приказать убить ее. Увы, Антоний, ослепленный страстью, не захотел меня слушать! Высказав все это Октавиану, я сложил к его ногам мой царский венец и объявил ему, что он может обойтись со мной как с врагом, лишить меня трона, казнить — все это будет справедливо, я безропотно подчинюсь любому его решению. Но он может и — наоборот — принять мою дружбу, и она будет такой же верной, безупречной и действенной, какой была моя дружба к Антонию.

Никогда еще я не играл так рискованно. В течение минуты, пока будущий Август, потрясенный моей дерзостью, колебался, было неизвестно, что меня ждет — позорная гибель или торжество.

Наконец Октавиан поднял мой венец, возложил его мне на голову и сказал: «Оставайся царем и будь моим другом, поскольку ты так высоко ценишь дружбу. И, чтобы скрепить наш союз, я дарю тебе личную гвардию — четыре сотни галлов царицы Клеопатры». А вскоре мы узнали, что Антоний и Египетская царица покончили с собой, чтобы не участвовать в триумфальном шествии Октавиана.

После такого блистательного поворота судьбы я мог спокойно смотреть в будущее. Увы, мне пришлось заплатить за победу страшнейшими несчастьями в лоне собственной семьи.

Источником этих несчастий в первую очередь была моя любовь к Мариамне. Ее черное солнце освещает происшедшую трагедию — только в его свете и можно ее понять. Отправляясь к Октавиану, я отлично понимал, что рискую жизнью и у меня мало надежд вернуться живым. Дома у меня оставались четыре женщины: моя мать Кипра, моя сестра Саломея, царица Мариамна и ее мать Александра. На деле речь шла о двух ненавидящих друг друга кланах: идумейском, из которого вышел я сам, и уцелевшими потомками асмонеев. Надо было помешать этим четырем женщинам истребить друг друга за

время моего отсутствия. Прежде чем отплыть на Родос, я отправил Мариамну с матерью в крепость Александрион, а мою мать, Саломею, трех моих сыновей и двух дочерей запер в крепости Масада. Потом дал коменданту Александриона, Соэмию, тайный приказ умертвить Мариамну, если он получит известие о моей собственной гибели. Сердце и разум — оба диктовали мне эту крайнюю меру. Я не мог вынести мысль, что моя любимая Мариамна, пережив меня, может стать супругой другого. А кроме того, после моей смерти ничто не помешало бы асмонеям во главе с Мариамной снова прибрать к рукам власть и постараться сохранить ее любой ценой.

Вернувшись с Родоса в ореоле победы, я собрал всю эту милую компанию в Иерусалиме, уверенный в том, что мой политический успех приведет ко всеобщему примирению. Не тут-то было! С первых минут я наткнулся на лица, искаженные ненавистью. Сестрица Саломея сгущала мрак, то заводя уклончивые разговоры, то делая зловещие разоблачения, в надежде на то, что однажды эта черная туча разразится грозой над головой Мариамны. Мариамна же обливала меня презрением, отказываясь от всяких сношений со мной, хотя разлука и опасность, которой мне

удалось избежать, только разожгли мою страсть к жене. Более того, Мариамна не упускала случая подло намекнуть на старую историю — смерть своего деда Гиркана, которую я будто бы ускорил. Мало-помалу загадка разъяснилась, я понял, что произошло в мое отсутствие. Все эти женщины, ожидая, что, скорее всего, я погибну, стали плести всевозможные интриги. Действовали они не в одиночку. Комендант Александриона, Соэмий, желая попасть в милость к Мариамне, будущей правительнице Иудеи, сообщил ей о том, что я приказал ему убить ее в случае моей гибели. Приходилось наводить порядок. Первой скатилась голова Соэмия. Но это было только начало. Мой виночерпий попросил у меня тайной аудиенции. Он явился с бутылкой ароматизированного вина. Вино ему вручила Мариамна, уверив его, будто это приворотное зелье, и, обещав щедрое вознаграждение, приказала незаметно напоить меня им. Не зная, как быть, он открылся моей сестре Саломее, которая и посоветовала ему признаться мне во всем. Привели раба-галла и приказали ему отведать напиток. Он упал мертвым. Немедля вызвали Мариамну, она поклялась, что слыхом не слыхала о зелье и это все козни Саломеи, замыслившей ее погубить. Это было вполне вероятно,

и, жаждая пощадить Мариамну, я раздумывал, против которой из женщин направить удар. Впрочем, я мог приказать пытать виночерпия, пока он не скажет всей правды. Но тут разыгралась неожиданная сцена, которая все перевернула вверх дном. Моя теща Александра вдруг нарушила молчание и начала во всеуслышание обвинять собственную дочь. Она не только подтвердила, что меня пытались отравить, но и дала толчок новому делу, утверждая, будто Мариамна была любовницей Соэмия, которому предназначала важную политическую роль после моей смерти. Быть может, ради спасения Мариамны я решился бы навсегда зажать рот этой фурии. Но, к сожалению, скандал получил слишком громкую огласку. В Иерусалиме только об этом и говорили. Избежать суда было невозможно. Я созвал двенадцать мудрецов, перед которыми и предстала Мариамна. Держалась она поразительно — мужественно и с достоинством. Она до самого конца отказывалась от защиты. Приговор был единодушным — смерть. Мариамна этого ждала. Она приняла ее, не проронив ни звука.

Я приказал положить тело Мариамны в открытый саркофаг, залив его прозрачным медом. Семь лет я хранил его в моих покоях, наблюдая, как

день ото дня возлюбленная плоть растворяется в прозрачном золоте. Горе мое не знало границ. Никогда не любил я ее с такой страстью и могу сказать, что и поныне, по прошествии тридцати лет, несмотря на многочисленные браки, разводы и чудовищное распутство, я все так же люблю ее. Это ради тебя, Каспар, вспоминаю я эту драму, опустошившую мою жизнь. Вслушайся в вопли, эхо которых еще отдается под сводами этого дворца и сегодня долетает до тебя: это я, Ирод Великий, выкрикиваю имя Мариамны в стенах моей опочивальни. Отчаяние мое было таким свирепым, что слуги, министры и придворные в страхе разбежались. Когда мне удавалось схватить одного из них, я заставлял его вместе со мной призывать Мариамну, словно у двух голосов было вдвое больше надежды ее вернуть. Я почувствовал едва ли не облегчение, когда в ту пору в Иерусалиме разразилась эпидемия холеры, косившая и простолюдинов, и богачей. Мне казалось, что бедствие заставит иудеев посочувствовать моему горю. Но люди вокруг меня мерли как мухи, и мне пришлось покинуть Иерусалим. Однако вместо того, чтобы удалиться в один из моих дворцов в Идумее или Самарии, я разбил лагерь в пустыне, в глубокой долине Гор, суровом и бесплодном

провале, смердящем серой и смолой, — истинном образе моего сердца. Я провел там в бесчувствии много недель, приходя в себя только от мучительной головной боли. Но инстинкт подсказал мне правильное решение — клин надо вышибать клином. Адская долина Гор подействовала на мою душу, истерзанную горем и мыслями о холере, как каленое железо на гнойную рану. Я выбрался из пропасти на поверхность. И вовремя. Мне тотчас сообщили, что моя теща Александра, которую я неосторожно оставил в Иерусалиме, плетет сети заговора, чтобы завладеть двумя иерусалимскими крепостями — Антонией, рядом с Храмом, и восточной башней, высящейся среди жилых кварталов. Я предоставил этой фурии, главной виновнице гибели Мариамны, запутаться в собственных интригах и, неожиданно вернувшись в город, застиг ее на месте преступления. Ее труп отправился вдогонку за другими мертвецами ее династии.

Но на этом, увы, я не покончил с родом асмонеев. От брака с Мариамной у меня осталось двое сыновей — Александр и Аристовул. После смерти их матери я отправил юношей учиться к императорскому двору, чтобы оградить их от миазмов Иерусалима. Одному было семнадцать, другому

восемнадцать лет, когда до меня дошли тревожные известия о том, как они ведут себя в Риме. Меня предупредили, что они грозятся отомстить за невинно погибшую мать, в чьей смерти они винили меня одного, и с этой целью настраивают против меня Августа. Таким образом, спустя много лет несчастье продолжало меня преследовать. Мне было уже под шестьдесят, за плечами у меня была долгая череда испытаний, правда, и блестящих политических побед, но их я каждый раз оплачивал жестокими ударами судьбы. Я уже всерьез подумывал о том, чтобы отречься от престола и удалиться в родную Идумею. Но мысль об ответственности перед государством снова одерживала верх. Я поехал в Рим за сыновьями. Я привез их в Иерусалим, поселил у себя под боком и поспешил их женить. Александру сосватал Глафиру, дочь Архелая, царя Каппадокии. Аристовулу — Веренику, дочь моей сестры Саломеи. Но члены моей семьи словно обезумели, интригуя друг против друга. Глафира и Вереника объявили друг другу войну. Первая старалась повлиять на своего отца Архелая, чтобы он выступил против меня в Риме. Вереника стакнулась со своей матерью Саломеей, которая всячески старалась очернить в моих глазах Александра. Аристовул

же, верный памяти матери, поддерживал брата. А тут еще я вздумал призвать в Иерусалим свою первую жену Дориду и ее сына Антипатра, которые жили в изгнании со времени моего брака с Мариамной, — их приезд довершил смуту. Они тотчас ринулись в самую гущу схватки и не успокоились до тех пор, пока Дорида не заняла своего прежнего места в моей постели.

На душе у меня было так гнусно, что я уже не знал, на что решиться. Мне так хотелось хотя бы на этот раз избежать потоков крови, которые до сих пор всегда разрешали мои семейные неурядицы. В растерянности я решил прибегнуть к высшей власти, которую мог бы просить помочь мне распутать клубок моих семейных раздоров, а главное, разрешить мою распрю с сыновьями. Поскольку кашу, судя по всему, заварили в Риме, почему бы не обратиться к Августу, слава которого все растет?

Я зафрахтовал галеру и вместе с Александром и Аристовулом отплыл в Рим. В Риме мы встретили учившегося там Антипатра. Зато императора в городе не оказалось, и на расспросы о том, где он пребывает, нам отвечали довольно уклончиво. Вместе с тремя сыновьями я пустился на поиски Августа, наугад посещая остров за островом, порт

за портом. Наконец мы добрались до Аквилеи на севере Адриатического моря. Не стану лгать, уверяя, что Август обрадовался, когда его отдых в этом волшебном уголке потревожила самовольно высадившаяся здесь семья, о которой до него и так доходило слишком много толков. Целый день мы яростно и бестолково выясняли наши домашние отношения. Неоднократно все четверо принимались говорить разом с такой злобой, что казалось, еще минута, и мы вступим в рукопашную. Август великолепно умел прикрывать равнодушие и скуку скульптурной позой, которую можно было приписать вниманию. Однако неслыханное семейное представление, где он против воли присутствовал, в конце концов его удивило и даже заинтересовало, как могла бы заинтересовать битва змей или драка мокриц. По прошествии нескольких часов, когда мы все уже охрипли, он нарушил молчание, приказав нам прикусить языки, и объявил, что, тщательно взвесив все наши доводы, вынес решение.

— Я, император Август, приказываю вам примириться и отныне жить в добром согласии, — изрек он.

Таков был императорский приговор, которым нам надлежало удовлетвориться. Не густо, если

вспомнить, какое путешествие мы предприняли! Но с другой стороны, в самом деле, чего ради мне вздумалось обращаться к третейскому судье, чтобы разрешить наши семейные свары! И все-таки я не мог решиться уехать с таким скудным результатом. Я сделал вид, что хочу задержаться в Аквилее. Измученный Август тщетно пытался нас спровадить. Я внимательно наблюдал, как мало-помалу истощается его терпение. Улучив подходящую минуту, я вдруг внезапно переменил тему разговора и намекнул на медные рудники, которыми он владел на Кипре. Разве в свое время он не собирался доверить мне их разработку? Это была чистейшая выдумка с моей стороны, но Август ухватился за представившуюся возможность избавиться от нас. Хорошо, он согласен, я могу приступить к разработке этих рудников, но аудиенция окончена. Мы удалились. Но я хотя бы уезжал не с пустыми руками.

Властитель должен уметь извлекать пользу из всего. Из былинки, дарованной мне Августом, я разжег в Иерусалиме огромный фейерверк. Перед ликующей толпой я объявил, что отныне вопрос о престолонаследии улажен. Царство разделят трое моих сыновей, которых я представил народу. Первенство в этом своеобразном триумвирате

будет принадлежать старшему — Антипатру. Я прибавил, что со своей стороны чувствую в себе довольно силы, чтобы с Божьей помощью еще долго держать в руках подлинную власть, но при этом предоставлю сыновьям право на царские почести и на личный двор.

Да, силы у меня, может быть, и были… но жажда власти?… Никогда еще желание все бросить не было во мне столь велико. И вот, накинув на семейный муравейник пурпурное покрывало, я отправился в мою любимую Грецию, чтобы укрепить свой дух и очиститься в ее лучах. Олимпийские игры, пришедшие в полный упадок, казалось, вот-вот окончательно сгинут. Я реорганизовал их, выделив средства и основав стипендии для поддержания их в будущем. И на ближайший год взял на себя роль председателя жюри. Меня опьяняло зрелище молодости, блистающей на солнце. Счастлив тот, кому шестнадцать лет, у кого плоский живот, длинные ноги, а всех забот — метнуть диск или пробежать дистанцию… У меня сомнений нет, если рай существует — он находится в Греции и у него овальная форма олимпийского стадиона.

Но кончился этот лучезарный миг, и царское ремесло со всем его величием и грязью вновь на-

ложило на меня лапу. В эту-то пору и состоялось незабываемое по своей пышности торжество освящения Храма. Потом, приказав завершить работы, начатые в Кесарии, я присутствовал на открытии нового порта. Вначале там был только причал, маленький, хотя и очень важный, ведь он находился как раз на полпути между Дорой и Иоппией. Каждому шедшему вдоль финикийского берега кораблю, когда свирепствовал юго-западный ветер, приходилось бросать якорь в открытом море. А я соорудил здесь искусственный порт — из глубины в двадцать саженей поднялись каменные глыбы пятидесяти футов в длину при девяти в высоту и десяти в ширину. Когда эта громада достигла поверхности воды, я возвел на ее основе волнолом в двести футов шириной, перерезанный башнями, самая красивая из которых названа была Друз в честь приемного сына императора. Вход в порт был обращен к северу, потому что здесь борей — признак хорошей погоды. По обе стороны от входа, словно боги-покровители, возвышались колоссы, а на холме над городом, в храме, посвященном императору, стояла его статуя, вдохновленная образом Зевса-Олимпийца. Как хороша была моя Кесария, вся из белого камня, с ее лестницами,

площадями и фонтанами! Я уже завершал строительство портовых складов, когда из Иерусалима до меня донеслись сначала вопли Александра и Аристовула, возмущенных тем, что моя последняя любовница наряжалась в платья их матери Мариамны, а потом ругань моей сестрицы Саломеи, которая вздорила с Глафирой, женой Александра. Саломея особенно беспокоила меня еще и потому, что вступила в сговор с нашим братом Ферором, человеком больным и переметчивым, — я отдал ему далекую Трансиорданию, но он не упускал случая воспротивиться моей воле, объявив, например, что желает жениться на рабыне, выбранной им самим, а не на царевне, которую предназначил ему я.

В разгар летней засухи в Иерусалиме каждый год катастрофически не хватало воды. Я удвоил количество труб вдоль дорог, ведущих из Хеврона и Вифлеема, по этим трубам вода из Соломоновых прудов поступала в Иерусалим. Да и в самом городе было построено множество водоемов и цистерн, чтобы лучше сохранять дождевую воду. Наше небывалое процветание отразилось и на наших серебряных монетах: содержание свинца в них упало с двадцати семи до тринадцати процентов, это был, безусловно, самый лучший

сплав во всем Средиземноморье.

Причин чувствовать удовлетворение у меня было более чем достаточно, но они не могли уравновесить раздражение, которое вызывали во мне ежедневные доклады моей осведомительной службы о брожении при дворе. Одно время поползли слухи, будто я взял в наложницы Глафиру, молодую жену моего сына Александра. Потом тот же самый Александр вздумал утверждать, будто его тетка Саломея — а ей в ту пору перевалило за шестьдесят — однажды ночью пробралась в его постель и склоняла его к кровосмешению. Затем произошла история с евнухами. Их было трое — на одном лежало попечение о моих напитках, на другом — о еде, на третьем — об одежде, и все трое ночевали у меня в прихожей. Присутствие рядом со мной этих людей с Востока всегда возмущало фарисеев, которые намекали на то, будто их услуги не ограничиваются заботой о столе и одежде. И теперь мне донесли, что Александр подкупил евнухов, уверив их, будто царствованию моему скоро конец и, вопреки моим распоряжениям, унаследует трон он один. Опасность усугублялась тем, что слуги эти были приближены к моей особе и я вынужден был оказывать им особое доверие. Тот, кто пытался их подкупить, дол-

жен был вынашивать самые черные замыслы. Мои охранники рьяно взялись за дело, а ведь одно из роковых свойств участи тиранов в том и состоит, что они зачастую бессильны умерить рвение людей, которым они вручили собственную безопасность. Александра несколько недель продержали в одиночной камере, и дворец содрогался от воплей его приближенных, которых пытали мои палачи. И все же мне снова удалось установить в моей семье шаткое перемирие. Помог мне в этом Архелай: обеспокоенный участью, грозящей его дочери и зятю, он примчался из Каппадокии. Архелай сделал ловкий ход, начав с того, что осыпал виновных проклятьями, требуя их примерно наказать. Я предоставил Архелаю разглагольствовать, радуясь тому, что он взял на себя роль обвинителя, без которой нельзя было обойтись, а мне отвел другую, которую мне так редко приходилось играть, — роль защитника и милосердца. Нам помогли показания Александра: молодой человек возложил вину на свою тетку Саломею и в особенности на своего дядю Ферора. Последний решил покаяться, что и проделал со всем присущим ему сумасбродством: в черном рубище, посыпав голову пеплом, он в слезах бросился к нашим ногам, виня себя во

всех возможных грехах. Таким образом, Александр был сразу очищен от многих обвинений. Мне оставалось только переубедить Архелая, намеревавшегося увезти дочь в Каппадокию под предлогом, что она-де недостойна зваться моей невесткой, а на деле чтобы убрать ее подальше от осиного гнезда, которое становилось таким опасным. Я проводил его до самой Антиохии и простился с ним, наделив щедрыми подарками: кошельком с семьюдесятью талантами, золотым троном, инкрустированным драгоценными камнями, наложницей по имени Паннихия и тремя евнухами, с которых все началось и которых я при всем своем желании не мог оставить у себя на службе.

Когда хотят оправдать образ действий властителей, часто ссылаются на своего рода высшую логику, которая не имеет ни малейшего отношения к логике простых смертных, а часто даже находится в вопиющем противоречии с ней и которая зовется *разумной государственной необходимостью.* Ладно, пусть себе так и зовется, но сам я, видно, все-таки не стал настоящим государственным мужем, потому что, употребляя рядом эти слова, не могу не усмехаться в свою жидкую бороду. Разумная государственная необ-

ходимость! Впрочем, зовут же Эвменидами, то есть Благосклонными, Эриний или Фурий, дочерей земли, в волосах которых извиваются змеи и которые преследуют преступников, потрясая кинжалом, зажатым в одной руке, и пылающим факелом — в другой. Эта стилистическая фигура называется *антифраза*. Разумная государственная необходимость — это тоже, конечно, антифраза; на самом деле следовало бы говорить не о разумности, а о государственном *безумии*. Кровавое умоисступление, сотрясающее вот уже полвека мою несчастную семью, — лучший пример этого помешательства, ниспосланного свыше.

Наступившую передышку я использовал для того, чтобы попытаться разрешить беспокоивший меня вопрос, который был связан с Трахонитидой и Ватанеей. Эти провинции, расположенные на северо-востоке моего государства между Ливаном и Антиливаном, служили прибежищем контрабандистам и вооруженным бандам, на которых постоянно жаловались обитатели Дамаска. Я пришел к выводу, что ни от каких военных экспедиций не будет толку, пока в этом районе не поселятся оседлые труженики. Я переселил в Ватанею евреев из Вавилона. В Трахонитиде дал

землю трем тысячам идумейцев. Чтобы защитить этих поселенцев, я выстроил множество крепостей и укрепленных деревень. Поскольку вновь прибывшие освобождались от налогов, туда хлынул нескончаемый поток иммигрантов. И целинные земли превратились в цветущие зеленые поля. Оживились торговые связи между Аравией и Дамаском, Вавилоном и Палестиной, а мое государство извлекало барыши из дорожных пошлин и таможенных сборов.

В эту-то пору нежданный и нежеланный гость пробудил при дворе всех старых демонов. Спартанский тиран Эврикл, как и его отец, обязан был своим процветанием той решающей помощи, какую он оказал Октавиану в битве при Акциуме. В благодарность император пожаловал ему римское гражданство и подтвердил его права на Спарту. И вот однажды вечером Эврикл приплыл в Иерусалим с охапкой богатых подарков, приветливый, сияющий улыбкой и, судя по всему, готовый стать другом и поверенным противоборствующих кланов. С этой минуты наспех потушенное пламя наших ссор вспыхнуло с новой силой, потому что Эврикл усердно пересказывал одним то, что говорили другие, при этом раздувая и искажая услышанное. Александру он

напоминал, что всегда был другом царя Архелая, а стало быть, относится к нему по-отечески, и удивлялся, как это Александр, зять царя и по матери асмоней, терпит опеку единокровного брата Антипатра, рожденного от простолюдинки. А потом он предупреждал Антипатра, чтобы тот остерегался неутолимой ненависти сводных братьев. Наконец, мне он рассказал о плане, якобы задуманном Александром: убить меня, потом бежать сначала к своему тестю в Каппадокию, а потом в Рим, чтобы склонить на свою сторону Августа. Когда спартанский тиран, обласканный и осыпанный дарами, отбыл на своем корабле в Лакедемон, мой дом кипел, словно адский котел.

Пришлось допросить Александра и его приближенных. Увы, результаты допроса были ужасны. Два моих кавалерийских офицера признались, что располагают крупной денежной суммой, которую им якобы вручил Александр, чтобы они меня убили. Кроме того, найдено было письмо Александра к коменданту Александриона, из него явствовало, что, совершив преступление, он намерен был укрыться в крепости вместе с братом. Правда, когда братьев допросили порознь, оба они признали, что собирались бежать в Рим через Каппадокию, но упорно отрицали,

что перед тем намеревались меня убить. Несомненно, они условились придерживаться этой версии еще до ареста. Моя сестра Саломея окончательно погубила своих племянников, показав мне письмо, полученное ею от Аристовула. Он предупреждал ее, что ей следует опасаться самой страшной моей мести, ибо я обвиняю ее в том, что она выдает придворные секреты моему личному врагу арабскому правителю Силлаю, за которого мечтает выйти замуж.

Процесса по обвинению в государственной измене избежать было уже нельзя. Первым делом я послал двух гонцов в Рим. По дороге они остановились в Каппадокии и получили свидетельство Архелая. Он подтвердил, что ждал приезда своего зятя с Аристовулом, но и слыхом не слыхал, что потом они собирались в Рим и тем более что они готовили покушение на мою жизнь. Август же сообщил мне письмом, что, вообще, он против смертной казни, но предоставляет мне полную свободу судить и приговорить виновных. Император, однако, рекомендовал мне устроить суд за пределами моего царства, например в Берите, где находилась большая римская колония, и вызвать туда в качестве свидетеля Архелая. В Берите? Почему бы нет? Мысль слушать дело подальше

от Иерусалима показалась мне разумной, потому что отпрыски асмонеев по-прежнему пользовались любовью жителей города. Но зато я никак не мог привлечь в качестве свидетеля царя Каппадокии — он сам слишком явно участвовал в заговоре.

Председательствовали в суде наместники Сатурнин и Педаний — мне было известно, что они получили инструкции от Августа. На заседание явились прокуратор Волумний, мой брат Ферор, сестра Саломея и выступавшие от имени Архелая сирийские аристократы. Во избежание скандала я запретил привозить на суд обвиняемых — оба они содержались под стражей в Платане, городке во владениях Сидона.

Взяв слово первым, я рассказал о своих злосчастьях обманутого государя, оскорбленного отца, о том, как я непрестанно тщился образумить мою проклятую семью, как осыпал милостями асмонеев, а они в благодарность только наносили мне обиды. Причиной всему — их происхождение, которое они считали — не без определенных оснований — более благородным, чем мое. Но должно ли мне было из-за этого терпеть их надругательства? Должно ли позволять им устраивать заговоры, грозящие гибелью государству и мне

самому? В заключение я сказал, что по совести, на мой взгляд, Александр и Аристовул заслуживают смерти и я не сомневаюсь, что суд рассудит, как я, но этот приговор будет для меня горькой победой, ибо он лишит меня потомства.

Потом выступил Сатурнин. Он предложил покарать молодых людей, но не смертью, ибо сам он — отец троих детей, присутствующих на заседании суда, и не может решиться осудить на казнь детей другого отца. Худшей защитительной речи нельзя было и придумать! Однако остальные римляне, которых должным образом наставил император, как и Сатурнин, высказались против смертной казни. Но они остались в одиночестве. Словно к исходу боя гладиаторов, я увидел, как большие пальцы один за другим опускаются вниз. Прокуратор Волумний, сирийские принцы, иерусалимские придворные и, конечно, Саломея и Ферор — кто по глупости, кто из ненависти, кто из расчета, кстати, одно не исключало другого, — все проголосовали за смертный приговор.

Сердце мое разрывалось от горя и отвращения, но я перевез моих сыновей в Тир, а оттуда отплыл с ними в Кесарию. Оба были приговорены. Конечно, я мог их помиловать. Ведь во мне

уживались два человека — уживаются и сейчас, в эту минуту. Один из них — беспощадный властитель, который повинуется только закону власти… Добиться власти, не упускать ее из рук, осуществлять — все это одно нерасчлененное деяние, и совершать его, оставаясь безгрешным, невозможно. Но во мне крылся и слабый, доверчивый, впечатлительный и пугливый человек. И вот он-то вопреки здравому смыслу все еще надеялся, что его дети будут спасены. Он делал вид, что не замечает присутствия своего страшного двойника, снедаемого жадным властолюбием, неумолимой жестокостью. На корабле посреди залива, который омывает берега Сирии и Иудеи и над которым высится зеленый холм Кармил, мы были отделены от мира со всем его непотребством. Я приказал вывести моих сыновей на мостик. Призвал их отец. Но, едва я их увидел, я понял, что встретит их царь. В самом деле, я еле узнал их в черной одежде смертников, бритоголовых, со следами пыток на теле. Судебная машина сделала свое дело. Метаморфоза была необратима: двое юных аристократов, блестящих и беззаботных, бесследно исчезли, уступив место двум отцеубийцам, потерпевшим неудачу в своем умысле. Обаяние молодости и счастья сме-

нилось маской преступников. У меня не нашлось для них ни слова. Мы смотрели друг на друга, и между нами вырастала все более плотная стена молчания. В конце концов я приказал охранявшему юношей центуриону: «Уведи их». Он отвел обоих назад в трюм. Больше я их не видел.

Из Кесарии я приказал перевезти их в Себасту, где их ожидал палач. Их удавили, и тела их покоятся в цитадели Александриона рядом с их дедом по матери Александром. Надгробное слово моим сыновьям было и чудовищным, и смешным, как сама их жизнь и смерть, произнес его император Август. Узнав об их казни, он заявил: «При дворе царя Ирода свиньей быть лучше, чем сыном и наследником, ибо свинину там хотя бы не едят, блюдя запрет».

Исчезновение двух сводных братьев развязало руки Антипатру. Я надеялся, что он изменится и проявит свои способности. Теперь ведь он мог быть уверен, что станет царем. Он уже отчасти и стал им при моей жизни. После меня это был самый могущественный человек в государстве. Но неужели же опять, в который раз, близость власти оказала свое тлетворное влияние? С ужасом наблюдал я, как на моих глазах меняется человек, на которого я возложил все мои надежды.

Первый раз я встревожился из-за моих внуков. Жестокость, какую мне пришлось проявить по отношению к Александру и Аристовулу, пробудила в моем сердце нежность к их сиротам. У Александра было двое детей от Глафиры — Тигран и Александр. У Аристовула — трое сыновей от Вереники, Ирод, Агриппа, Аристовул, и две дочери — Иродиада и Мариамна. Таким образом, у меня было семеро внуков, из них пятеро мальчики, в чьих жилах текла кровь асмонеев. Каков же был мой ужас, когда мои соглядатаи донесли мне, что Антипатр ненавидит и боится потомков Мариамны. Он называл их «змеенышами» и твердил всем охотникам его послушать, что не сможет царствовать, пока существует такая угроза. Стало быть, страшному проклятью, вот уже полвека тяготеющему над союзом идумейцев с асмонеями, суждено продлиться и после моей смерти.

Но и это еще не все. Когда Антипатр говорил, что ему надо «расчистить место», он в первую очередь имел в виду меня. Мне донесли, что он при свидетелях жаловался: «Никогда мне не стать царем! Взгляните — я уже сед, а он чернит свои волосы!» Его раздражали даже мои болезни — он приходил в отчаяние, видя, что я оправляюсь от

очередного недуга. Дело в том, что после смерти братьев он вел себя с неосторожной откровенностью, все меньше утруждая себя притворством, и с каждым днем все больше раскрывался передо мной во всей своей мерзости. Когда над головами Александра и Аристовула собиралась гроза, Антипатр держался в стороне, с виду соблюдая доброжелательный нейтралитет по отношению к сводным братьям. Он был воплощенная дипломатия. Но теперь я убедился, что, прикидываясь сдержанным, он не пожалел усилий, чтобы их погубить. С первого же дня это он дергал их за ниточки и расставлял им силки, в которые они должны были попасть. И вскоре мой гнев на Антипатра перешел все границы.

Мне донесли, что вместе с моим братом Ферором и с женщинами — своей матерью Доридой, своей женой и женой Ферора — они составили некий кружок, собиравшийся на тайные ночные пирушки. Моя сестра Саломея мне обо всем докладывала. Я постарался разогнать эту компанию. Ферору приказал сидеть в Перее — столице его тетрархии. Он имел глупость перед отъездом поклясться в гневе, что ноги его не будет в Иерусалиме, пока я жив. Антипатра я послал в Рим, поручив ему представлять меня на процессе,

который император возбудил против арабского правителя Силлая (того самого, за которого когда-то мечтала выйти Саломея), — он обвинялся в том, что был замешан в убийстве своего государя Арета IV. Депутация, сопровождавшая Антипатра, была начинена моими соглядатаями, теми, кому я платил за то, чтобы мне доносили обо всех его словах и поступках. Вскоре после своего прибытия в Перею Ферор заболел, и так тяжело, что меня стали уговаривать поехать к нему, если я хочу застать его в живых. Я поехал, и не столько, как вы догадываетесь, из братских чувств, сколько для того, чтобы выяснить одно неясное для меня обстоятельство. Так или иначе, Ферор умер у меня на руках, утверждая, что его отравили. Вряд ли это так. Кому было выгодно его убрать? Безусловно, не его жене, бывшей рабыне, которая, теряя его, теряла все. Впрочем, она и выдала тайну. Еще во времена ночных сборищ, которые без моего ведома устраивали Антипатр и Ферор, они решили пригласить из Аравии отравительницу и с помощью ее снадобий спровадить меня и детей Александра и Аристовула на тот свет. Когда Антипатр и Ферор расстались, последний сохранил склянку с ядом, рассчитывая им воспользоваться, пока Антипатр, находясь в Риме,

будет вне всяких подозрений. Я приказал жене Ферора принести склянку с ядом. Она сделала вид, что повинуется, но вместо этого бросилась вниз с террасы, чтобы покончить с собой. Она, однако, не погибла, а только сильно расшиблась, и ее доставили ко мне. Склянку с ядом нашли — она была почти пуста. Несчастная объяснила мне, что сама вылила отраву в огонь по приказу Ферора, который был так растроган моим приездом, что отказался от намерения меня отравить. Но Ирод не из тех, кого можно одурачить подобными нравоучительными сказками. Из всей этой болтовни стало только еще очевиднее, что главный виновник всего — Антипатр. Его вина была доказана окончательно, когда я перехватил письмо, посланное им из Рима Ферору. Антипатр спрашивал дядю, «удалось ли все устроить», и «на всякий случай, если понадобится», посылал ему порцию отравы. Я позаботился о том, чтобы до Антипатра не дошли слухи о смерти Ферора и о моем пребывании в Перее.

Ни о чем не подозревающий Антипатр вернулся в Иерусалим, куда успел прибыть и я. Осыпая меня поцелуями, он стал рассказывать, как удачно закончился процесс Силлая, который был уличен и осужден. Но я оттолкнул сына, объявив ему о

смерти его дяди и о том, что заговор раскрыт. Антипатр упал к моим ногам, уверяя, что ни в чем не виновен. Я приказал отвести его в тюрьму. А потом, как обычно от горького сознания, что мои близкие меня предали, я тяжело заболел. Не знаю, сколько времени пребывал я в полном упадке духа. Я был не в силах интересоваться результатами расследования, которое по моей просьбе вел Квинтилий Вар, наместник Сирии. Однажды мне принесли корзину с фруктами. Но мое внимание привлек лишь один предмет — серебряный нож, который служит для разрезания плодов манго и для того, чтобы чистить ананасы. Я повертел его в руках, любуясь тонким лезвием, ручкой удобной формы, гармоничным соотношением этих двух частей. Прекрасное изделие, благородное, изящное, соответствующее своему назначению. Какому назначению? Чистить яблоки? Полноте! Скорее уж — помочь отчаявшемуся царю свести счеты с жизнью. И я вонзил лезвие в грудь с левой стороны. Брызнула кровь. Я потерял сознание.

Когда я пришел в себя, то увидел прежде всего склоненное надо мной лицо моего двоюродного, брата Ахава. Я понял, что промахнулся, что самоубийство мне не удалось. Но и мое кратковременное отсутствие имело опустошительные

последствия. Сидя в тюрьме, Антипатр пытался подкупить своих стражников, суля им свое будущее покровительство. Он говорил, что, пока я жив, по моему приказу скатится еще не одна голова. Первой скатилась голова Антипатра, моего старшего сына, которому я предназначал корону.

Случилось это накануне вашего прибытия. Я лишился наследника, и тут мне как раз сообщили, что ко мне в гости прибыл торжественный и необычный караван. Само по себе это было не столь уж важно, но мой некромант Менахем обратил мое внимание на новую причудливую звезду, бороздящую наше небо, ту самую звезду, что привела сюда вас — тебя, Каспар, и тебя, Бальтазар. Каспар узнал в ней золотоволосую головку своей белокожей финикийской рабыни, а Бальтазар — Бабочку-Знаменосца своего детства. Примиритесь же с тем, что и я придам этой звезде черты, близкие мне. Сказка, которую нам рассказал Сангали, весьма поучительна. В моих глазах бродячая звезда может быть только белой птицей, несущей золотые яйца, той самой, за которой гнался царь Навунасар, тосковавший о наследнике. Старый царь иудеев умирает. Он мертв. Народился маленький царь Иудеи. Да

здравствует наш маленький царь!

Слушайте меня, Каспар, Мельхиор и Бальтазар! Я назначаю вас троих полномочными послами Иудеи. Я слишком слаб и хил, чтобы пуститься вслед за жар-птицей, которой ведома тайна — кто станет моим наследником. Я не в силах совершить такое путешествие, даже на носилках. Менахем напомнил мне пророчество Михея, который объявил, что Спаситель иудейского народа появится на свет в Вифлееме, родине царя Давида.

Ступайте же! Узнайте, кто этот Наследник и где Он в точности родился. От моего имени повергнитесь перед ним ниц. А потом возвращайтесь ко мне и доложите обо всем. Главное — обязательно вернитесь сюда.

Старый царь умолк и закрыл лицо ладонями. Когда он отнял руки, его лицо искажала безобразная гримаса.

— Но слышите! Не вздумайте меня обмануть! Полагаю, вы поняли, зачем я нынче вечером поведал вам некоторые страницы моей жизни. Да, верно, я привык быть обманутым, меня обманывали всегда. Но теперь вы знаете: когда меня предают, я караю, караю страшно, быстро, безжалостно. Приказываю вам… нет, молю вас,

заклинаю: сделайте так, чтобы хоть раз, хоть один-единственный раз, на пороге смерти, я не был обманут. Подайте мне эту последнюю милостыню, поступите со мной искренне и честно, и тогда я перейду в другой мир с сердцем, в котором будет место не одному только отчаянию.

И они двинулись в путь. Они спускаются в глубокую долину Тихона, а потом взбираются по обрывистым кручам Горы Соблазна. По дороге они поклонились праху Рахили. Они идут, ведомые звездой, которая щетинится лучистыми иглами в ледяном воздухе. Они идут вперед звездным путем, и у каждого своя тайна и своя поступь. Одного из них баюкает спокойная иноходь его верблюда, и в темном небе он видит только одно — лицо и волосы любимой женщины. Другой впечатывает в песок диагональный след идущей рысью лошади — он видит на горизонте только трепетанье крыльев огромного сверкающего насекомого. Третий идет пешком — он все потерял и мечтает о небывалом небесном царстве. И в ушах всех троих еще отдается история, пронизанная воплями и ужасами, — история, что рассказал великий царь Ирод, это его история, история счастливого царствования, при котором процвела страна и которое благословляет мелкий

люд — крестьяне и ремесленники.

«Так, значит, это и есть власть? — спрашивает себя Мельхиор. — Неужели стать великим властителем, чье имя навсегда будет вписано в историю, можно только такой ценой — ценой смрадного месива пыток и кровосмешений?»

«Так, значит, это и есть любовь? — думает Каспар. — Ирод любил в своей жизни одну-единственную женщину — Мариамну, любил всепоглощающей, благородной, нерушимой, но, увы, безответной любовью. И оттого что Мариамна была из рода асмонеев, а Ирод — идумеец, удары судьбы непрестанно поражали эту проклятую чету, жестокие удары судьбы, упорно повторявшиеся в каждом поколении их потомков». И чернокожий Каспар, содрогаясь, измеряет глубину грозной бездны, которая отделяет его от белокурой финикиянки Бильтины.

«Так, значит, это и есть любовь к искусству?» — вопрошает себя Бальтазар, устремив взор на небесную Бабочку, взмахивающую огненными крыльями. В его мыслях смешиваются два мятежа — мятеж в Ниппуре, уничтоживший его Бальтазареум, и иерусалимский мятеж, истребивший золотого орла, который украшал Храм. Но если Ирод ответил мятежникам на свой обыч-

ный лад — резней, он, Бальтазар, смирился. Он не отомстил за Бальтазареум, не отстроил его заново. Потому что старого царя Ниппура снедают сомнения. Если вся религиозная традиция осуждает красоту греческих статуй, римской живописи, пунических мозаик и этрусских миниатюр, может, в них и в самом деле таится некое проклятье? Он думает о своем юном друге Ассуревавилонянине, который ищет способ прославить своим искусством скромную повседневность человеческой жизни. Но как можно прославить то, чему самой природой предназначено быть ничтожным и мимолетным?

И все трое, каждый на свой лад, пытаются представить себе маленького царя Иудеи, к которому их послал Ирод по следу своей белой птицы. Но в мыслях их царит смятение, потому что этот Наследник Царства сочетает в себе несовместимые свойства: величие и малость, могущество и невинность, изобилие и бедность.

Надо идти. Идти, чтобы увидеть. Открыть глаза и сердце незнакомым истинам, внять неслыханным дотоле словам. Они идут, в умиленном ликованье предчувствуя, что путь их ведет к началу новой эры.

Осел и вол

Вол

Осел — поэт, литератор, пустомеля. А вол болтать не любит. Он пережевывает свою жвачку, он созерцатель, молчальник. Он болтать не любит, но это не мешает ему думать. Он размышляет и вспоминает. В его голове, тяжелой и массивной, как скала, теснятся воспоминания стародавних времен. Самое почтенное связано с Древним Египтом. Это воспоминание о Быке Аписе. Апис рожден от девственницы телки, оплодотворенной ударом грома. Во лбу у него — серп месяца, а на спине — гриф. Под языком у Аписа прячется скарабей. Аписа вскармливают в храме. Может ли после этого удивить вола, что в хлеву девушка родила от Святого Духа маленького Бога?

Вол вспоминает. Он видит себя молодым теленком. Украшенный гроздьями винограда, он выступает в середине шествия в день Праздника Урожая в честь богини Кибелы, а за ним следуют юные сборщицы винограда и старые Силены, пузатые и краснолицые.

Вол вспоминает. Черную осеннюю вспашку. Неторопливый труд вспоротой лемехом земли. Напарника по работе, тянущего то же ярмо. Теп-

лое дымящееся стойло.

Он грезит о корове. Прежде всего как об образцовой матери. О ее мягком животе. О том, как ласково тычется голова теленка в этот живой и щедрый рог изобилия. Как из гроздьев розовых сосцов брызжет молоко.

Он знает, что все это и есть он, вол, и долг его надежной, несокрушимой громады — неусыпно охранять роженицу Деву и появившегося на свет Младенца.

Слово осла

Пусть не смущает вас моя белая шкура, говорит осел. Когда-то я был черен как смоль, и только на лбу у меня белела звезда, знак моего предназначенья. Звезда и сегодня там, где была, но только никто ее не видит, потому что моя шерсть поседела. Так звезды ночного неба исчезают в бледном свете зари. Годы окрасили всего меня в цвет звезды, украшавшей мой лоб, и в этом я тоже вижу знак, бесспорную примету особой благодати.

Ибо я стар, очень стар, мне почти сорок лет, для осла это невероятно много. Не исключено, что я старейшина среди ослов. Это было бы еще одно знамение.

Зовут меня Кади Шуйя. Это следует объяснить. С самых юных моих лет хозяева не могли не отметить, что меня отличает необычное для осла умное выражение. Была в моем взгляде какая-то вдумчивость, проницательность, и это производило на всех большое впечатление. Вот почему мне дали имя Кади — ведь всем известно, что кади — это одновременно и судья, и священник, иначе говоря — человек, вдвойне отмеченный мудростью. Но, само собой, я был всего лишь

ослом, самым смиренным и забитым животным, и меня не могли назвать почтенным именем Кади, не принизив его другим именем, смешным. Вот меня и назвали Шуйя, что означает — ничтожный, жалкий, презренный. Кадишуйя — это как бы мудрец-шантрапа, и хозяева звали меня иногда Кади, но чаще Шуйя, смотря по настроению… [9]

Я осел, принадлежащий бедным. Долгое время я делал вид, что меня это радует. Потому что моим соседом и наперсником был осел, принадлежавший богатым. Мой хозяин простой земледелец. С его наделом соседствуют богатые угодья. Один торговец из Иерусалима проводил здесь со своей семьей самые жаркие недели лета. Его осла звали Яуль — это было великолепное животное, почти вдвое больше меня, с шерстью удивительно красивого и ровного серого цвета, светлой и мягкой, как шелк. Надо было видеть, как Яуль выступает в сбруе из красной кожи и зеленого бархата, с тканым ковровым седлом и медными стременами, помпоны ходят на нем ходуном, а погремушки звенят. Я прикидывался,

---

[9] Примечания: 9

Один из отдаленных потомков Кадишуйи опубликовал под измененным на французский лад именем Кадишон воспоминания, записанные графиней Сегюр, урожденной Ростопчиной.

будто этот карнавальный наряд мне смешон. Я старался вспомнить, каким мукам подвергали Яуля в детстве, чтобы впоследствии превратить в это роскошное верховое животное. Я видел в свое время, как он обливался кровью, когда на его живой плоти бритвой вырезали инициалы и девиз хозяина. Я видел, как безжалостно сшили кончиками вместе оба его уха, чтобы потом они стояли торчком, словно два рога, не то что мои, которые уныло свисают на обе стороны головы, а ноги его туго бинтовали, чтобы они стали тоньше и прямее, чем у обыкновенных ослов. Так уж устроены люди: тех, кого они любят и кем гордятся, они мучают еще больше, чем тех, кого они ненавидят или презирают.

Но Яуль был щедро вознагражден за свои муки, и в сострадании, которое я считал себя вправе к нему испытывать, таилась зависть. Во-первых, ему каждый день насыпали в чистые ясли овес и ячмень. И потом, у него были кобылицы. Чтобы понять значение этого обстоятельства, надо вспомнить, с какой непереносимой спесью относятся к ослам кони. Мало сказать, что они взирают на нас свысока. По сути дела, они нас просто не замечают, в их глазах мы значим не больше, чем мыши или мокрицы. Ну а кобыли-

цы!.. Для осла они — высший шик, аристократки, высокомерные и недосягаемые. Да, кобылица — это величайший и сладчайший реванш, который осел может взять у верзилы коня. Но каким же это образом удается ослу соперничать с конем в его собственных владениях и даже отбить у него самку? Судьба неистощима на выдумки, вот она и изобрела для ослиного народа удивительнейшую, презабавную привилегию, и ключ к ее отгадке зовется мул. Что такое мул? Это скромное, сдержанное, старательное животное (увлекшись перечислением эпитетов, начинающихся на букву «с», я мог бы добавить еще: спокойное, сознательное, сильное, но я должен сдерживать свое чрезмерное словолюбие). Мул — это царь песчаных троп, крутых спусков, переходов вброд. Невозмутимый, неутомимый, уравновешенный, он идет…

Но в чем секрет стольких добродетелей? Да в том, что мулу неведомы смятение любви и тревоги деторождения. У мула никогда не бывает муленка. Чтобы произвести на свет маленького мула, нужны папа-осел и мама-кобылица. Вот почему некоторые ослы (а среди них и Яуль), избранные в качестве Отца будущих мулов (это самый почетный титул в нашем сообществе),

получают в жены кобылиц.

Я отнюдь не принадлежу к числу сексуально озабоченных, и если мне свойственно честолюбие, оно состоит в другом. Но должен признаться, иной раз, видя, как Яуль возвращается утром после своих подвигов на лошадином поприще, досыта насладившийся и усталый, я начинал думать, что мир устроен несправедливо. Жизнь и в самом деле меня не баловала. Меня били, оскорбляли, навьючивали грузами тяжелее меня самого, а кормили чертополохом! С чего это люди вообразили, будто ослы любят чертополох? Дали бы нам хоть раз, хоть один-единственный раз, для разнообразия полакомиться клевером и зерном. А когда приходит наш последний час и, упав от истощения на краю обрыва, мы ждем, чтобы милосердная смерть положила конец нашим страданиям, нас преследует страх перед вороньем. Да, страх перед вороньем, потому что в наш смертный час мы познаем разницу между грифами и воронами. Ведь грифы нападают только на мертвецов. Пока в тебе теплится хоть искра жизни, тебе нечего их бояться: таинственным образом проведав об этом, они держатся от тебя на почтительном расстоянии. Но вороны, эти демоны, накидываются на умирающего, кромсая

его заживо, и первым делом выклевывают ему глаза…

Все это необходимо знать, чтобы понять, в каком расположении духа я пребывал, когда в начале нынешней зимы мы с хозяином оказались в Вифлееме, большой иудейской деревне. В эту пору в провинции царил изрядный переполох, потому что император приказал произвести перепись населения и каждый обязан был внести в список себя и членов своей семьи, и непременно в том месте, где он родился. Вифлеем расположен на гребне холма, по склонам которого сбегают террасы и маленькие садики, подпираемые стенами, сложенными из сухого камня. Весной и в обычное время жить здесь, наверно, приятно, но в начале зимы, да еще в суматохе переписи, я горько сожалел о своем стойле в Джеле, деревне, из которой мы прибыли. Моему хозяину еще повезло — с женой и двумя детьми он нашел приют в трактире, гудевшем как улей. Рядом с трактиром располагалось что-то вроде крытого гумна, где можно было держать съестные припасы. Между этими двумя помещениями был узкий, никуда не ведущий проход, через него перекинули балки, а на них набросали охапки тростника, и получилось некое подобие соломенной крыши.

Под этим шатким кровом поставили кормушку и положили подстилку для скотины, принадлежащей постояльцам. Там-то меня и привязали рядом с волом, выпряженным из тележки. Надо вам сказать, что я всегда ненавидел волов. Правда, это животное безобидное, но, к несчастью, у шурина моего хозяина есть вол, и во время пахоты родичи помогают друг другу и впрягают нас обоих в один плуг, несмотря на то что это строго запрещено законом.[10] А закон мудр, потому что, поверьте мне, нет ничего ужаснее работы в такой упряжке. У вола своя, неторопливая повадка, свой, безостановочный ритм. Он тянет шеей. Осел, как лошадь, тянет крупом. Он работает рывками: поднатужился — и пошел. Принуждать его подстраиваться к волу — все равно что привязать ему гирю к ногам, совершенно сковав его энергию, которая и так-то не очень велика!

Но в этот вечер пахать было не нужно. Приезжие, которых трактирщик не пустил в дом, заполонили гумно. Я был уверен, что нас недолго оставят в покое. И в самом деле, вскоре в наш импровизированный хлев пробрались мужчина и женщина. Мужчина, похожий на ремесленника,

---

[10] Примечания: 10
Второзаконие, 22:10.

был немолод. Он громогласно рассказывал всем и каждому, что явился на перепись в Вифлеем, потому что он потомок вифлеемского царя Давида в двадцать седьмом колене. Ему смеялись в лицо. Чтобы получить пристанище, лучше уж ему ссылаться на свою юную жену: видно было, что она измучена усталостью, да к тому же на сносях. Мужчина набрал соломы из подстилки и сена с решетки в яслях и устроил между мной и волом временное ложе для молодой женщины.

Мало-помалу все разместились как могли, и шум затих. Иногда молодая женщина тихонько стонала, из ее стонов мы узнали, что мужа ее зовут Иосиф. Он утешал жену как мог, из его слов мы узнали, что ее зовут Мария. Не знаю, сколько часов прошло, потому что я, как видно, заснул. Проснувшись, я понял, что произошла какая-то огромная перемена, и не только в нашем убежище, но повсюду, можно, пожалуй, сказать, даже в небе, сверкающие лохмотья которого проглядывали сквозь нашу убогую крышу. Великое безмолвие самой длинной в году ночи окутало землю, и казалось, земля задержала ток своих вод, а небо — дыхание своих ветров, чтобы не нарушить этой тишины. Замерли птицы на деревьях, лисицы в полях, лесные мыши в тра-

ве. Орлы и львы, все, кто наделен клювом или клыками, дали им передышку и с голодными желудками бодрствовали, вперившись в темноту. Даже светлячки затенили свои фитильки. Время растворилось в священной вечности.

И вдруг в одно мгновение свершилось чудо. Трепет неудержимой радости охватил небо и землю. Шорох бесчисленного множества крыл свидетельствовал о том, что сонмы ангелов-вестников разлетелись на четыре стороны света. Соломенная крыша над нами озарилась сверкающим потоком кометы. Стало слышно, как звонко хохочут ручьи и величаво смеются реки. В Иудиной пустыне всколыхнувшийся песок защекотал бока дюн. Рукоплесканью терпентиновых лесов отзывались приглушенным уханьем совы. Ликовала вся природа.

Что же произошло? Да почти ничего. Из жаркого сумрака соломы раздался легкий крик — то был голос не женщины и не мужчины. То был слабый крик новорожденного младенца. И в тот же миг посреди хлева возник столп света: появился ангел-хранитель Иисуса, архангел Гавриил, который в каком-то смысле стал руководить всем происходящим. Впрочем, дверь тут же открылась, и, подпирая бедром небольшой таз с теплой

водой, вошла одна из трактирных служанок. Не теряя времени даром, она опустилась на колени и обмыла ребенка. Потом растерла его тельце солью, чтобы кожа была здоровее, и, спеленав, протянула Иосифу, который в знак отцовской благодарности положил дитя к себе на колени.

Можно только восхищаться проворством Гавриила. Не в обиду многопочтенному архангелу будь сказано, весь этот год он ворон не считал. Это он объявил Марии, что ей предстоит стать матерью Мессии. Это он успокоил подозрения славного Иосифа. Позднее это он отговорит волхвов от намерения доложить обо всем Ироду и поможет маленькому семейству бежать в Египет. Но не будем опережать события. В настоящую минуту архангел взял на себя роль управителя, организатора празднества в грязном закутке, который он преобразил, как солнце преображает дождь в радугу. Он сам отправился будить пастухов в окрестных полях, вначале, сказать правду, их до смерти перепугав. Но, радостно смеясь, чтобы их успокоить, он объявил им великую и прекрасную новость и пригласил их в хлев. В хлев? Это очень удивило и в то же время ободрило эти простые души!

Когда они собрались в хлеве, Гавриил расста-

вил их полукругом, а потом помог каждому по очереди, преклонив колено перед младенцем, высказать ему слова приветствия и пожелания. А этим молчальникам, привыкшим говорить только со своими собаками да с луной, произнести несколько фраз было делом далеко не легким. Они сложили у Яслей плоды своего труда — кислое молоко, небольшие головы козьего сыра, овечье сало, а также оливки из Галгала, тутовые ягоды, иерихонские финики, но не мясо и не рыбу. Они рассказывали о своих смиренных горестях, о болезнях, о насекомых, о животных, и Гавриил благословлял их именем Младенца, обещая им помощь и покровительство.

Не мясо и не рыбу, сказали мы. И однако один из тех пастухов, что пришли последними, принес на плечах четырехмесячного ягненка. Он опустился на колени, положил свою ношу на солому, потом выпрямился во весь свой громадный рост. И местные жители узнали Силу-самарянина, который, конечно, был пастухом, но в то же время и отшельником и пользовался у обездоленных славой мудреца. Он жил в полном одиночестве, в окружении только своих собак и стад, в пещере Хевронской горы. Все понимали, что Сила не зря спустился с безлюдных вершин, и, когда архангел

знаком пригласил его заговорить, все навострили уши.

— Господин, — начал он, — обо мне говорят, что я уединился в горах из ненависти к людям. Это неправда. Не ненависть к людям, а любовь к животным превратила меня в отшельника. Но тот, кто любит животных, должен оберегать их от людской жадности и злобы. Я и вправду не похож на обычного скотовода, который продает свои стада на рынке. Я не продаю и не убиваю животных. Они поят меня своим молоком. Я делаю из него сметану, масло и сыр, но ничего не продаю. Я пользуюсь этими дарами в меру необходимости. Остальное, большую часть, раздаю неимущим. Если в этот вечер я откликнулся на зов ангела, который разбудил меня и указал мне звезду, это потому, что в сердце своем я страдаю не только от обычаев своих земляков, но и, что гораздо важнее, от обрядов своей веры. Увы, они восходят к далекому прошлому, едва ли не к началу времен, и, чтобы их изменить, необходима настоящая революция. Не совершится ли она этой ночью? Об этом я и пришел тебя спросить.

— Да, она совершится этой ночью, — подтвердил Гавриил.

— Вспомним тогда прежде всего жертвопри-

ношение Авраама. Чтобы испытать Авраама, Господь приказал ему заклать единственного сына — Исаака. Авраам повиновался. Он поднялся с сыном на одну из гор в земле Мориа. Мальчик удивился: они захватили дрова для костра, огонь и нож — но где же жертвенное животное? Дрова, огонь и нож… Вот, господин, проклятые принадлежности удела человеческого!

— Будут еще и другие, — мрачно сказал Гавриил, думая о гвоздях, молотке и о терновом венце.

— Потом Авраам приготовил костер и, связав Исаака, положил его на плоский камень, который служил алтарем. И занес нож над белой шеей ребенка…

— И тогда, — перебил его Гавриил, — явился ангел и отвел его руку. Это был я!

— Это правда, добрый ангел, — продолжал Сила. — Но Исаак так никогда и не оправился от ужаса, который испытал, видя, как его собственный отец занес над ним нож. Голубоватый блеск лезвия ослепил его настолько, что он всю свою жизнь плохо видел, а под конец и вовсе лишился зрения, что позволило его сыну Иакову обмануть отца, выдав себя за своего брата Исава. Но не это тревожит меня. Почему не могли вы ограничиться этим предотвращенным детоубийством?

Неужто было необходимо все-таки пролить кровь? Это ты, Гавриил, доставил Аврааму агнца, что был принесен во всесожжение. Неужто Бог не мог обойтись в то утро без искупительной жертвы?

— Согласен, жертвоприношение Авраама — это революция, потерпевшая неудачу, — сказал Гавриил. — Но мы совершим ее заново.

— Впрочем, мы можем продолжить наш путь дальше в глубь Священной Истории, — упорствовал Сила, — и обнаружить там как бы самый источник тайной страсти Иеговы. Вспомни Каина и Авеля. Братья молились Господу, и каждый приносил ему в жертву плоды своего труда. Каин был земледельцем, он возлагал на алтарь фрукты и зерна, а пастух Авель — мясо и сало ягнят. Но Иегова отворачивался от приношений Каина и принимал дары Авеля. Почему? По какой причине? Я вижу только одну: Иегова терпеть не может овощи и обожает мясо. Нет сомнения, Бог, которому мы поклоняемся, хищник!

Как таковому мы и воздаем ему дань. Вот и иерусалимский Храм, прекрасный и величественный, высшая обитель лучезарной божественной власти… знаешь ли ты, что в иные дни из Храма, словно с бойни, дымясь, струится свежая кровь?

Жертвенник, громадная глыба, сложенная из неотесанных камней с чем-то вроде рогов по углам, весь изрезан желобками, чтобы стекала кровь животных. Отправляя некоторые обряды, священники, преобразившиеся в живодеров, режут целые стада. Быки, бараны, козлы и даже стаи голубей содрогаются в этих местах в предсмертных конвульсиях. Их разделывают на мраморных столах, а внутренности бросают в огонь, дым от которого отравляет воздух в городе. Сказать ли тебе, что в иные дни, когда дует северный ветер, этот смрад доносится даже до вершины моей горы, сея ужас среди моих стад?

— Ты хорошо сделал, что пришел в эту ночь поклониться Младенцу, Сила-самарянин, — сказал Гавриил. — Вопль твоего сердца, друг животных, будет услышан. Я сказал тебе, что жертвоприношение Авраама оказалось революцией, потерпевшей неудачу. Но скоро Сын снова будет принесен в искупительную жертву Отцом. И клянусь тебе, на этот раз ангел не отведет Его руку. Отныне везде и всюду, вплоть до самого крохотного островка, выступившего из воды, и до скончания времен ежечасно на всех алтарях во спасение человечества будет проливаться кровь Сына. Видишь Младенца, который спит на соло-

ме и которого вол с ослом вправе согреть своим дыханием, ибо он и впрямь агнец, — он и будет отныне единственным жертвенным агнцем, агнцем Божьим, он один и будет приносим в жертву отныне и во веки веков.

Ступай с миром, Сила, и как символ жизни можешь унести с собой молодого ягненка, которого ты положил у ног Младенца. Этому ягненку повезло больше, чем тому, которого заклал Авраам, — он может засвидетельствовать твоему стаду, что отныне алтари Господни не будут обагрены кровью животных.

После этой речи архангела настало благоговейное молчание — как бы провал перед наступлением страшного и прекрасного переворота, который оно возвестило. Каждый на свой лад и по мере своих сил пытался представить, каковыми будут новые времена. Вот тут-то и раздался скрежет цепей, ржавых болтов и смех навзрыд, нелепый и гротескный, — это был я, это было громовое «Ии-аа!» осла, стоящего в яслях. Да, это был я, что вы хотите, терпение мое истощилось, пора было положить этому конец. Ведь, ясное дело, нас снова, в который уже раз, забыли. Я не пропустил ни слова из разговора, но не услышал, чтобы помянули про ослов.

Все засмеялись — Иосиф, Мария, Гавриил, пастухи, мудрый Сила и вол, который ничего не понял, и даже Младенец весело заколотил ручонками и ножонками в своей соломенной колыбели.

— Само собой, — сказал Гавриил, — ослы тоже не будут забыты. Конечно, всесожжения их не касаются. На памяти священнослужителей еще не бывало, чтобы на алтаре заклали осла. Слишком много чести для вас, смиренные ослики! А между тем заслуги ваши велики — на вас взваливают непосильные ноши, вас бьют, оскорбляют, держа впроголодь. Но не думайте, что ваши беды ускользнули от глаз архангела. Вот, например, я отлично вижу глубокую гноящуюся ранку за твоим левым ухом, Кадишуйя, и страдаю вместе с тобой, бедный мученик, когда твой хозяин день за днем ковыряет ее заостренной палкой, чтобы боль подстегнула твои угасающие силы…

И архангел протянул свой лучезарный палец к моему левому уху, и тотчас глубокая гнойная ранка, не ускользнувшая от его внимания, затянулась, более того — она покрылась жесткой и плотной мозолью, которую никогда уже не сможет проколоть никакое острие. Я тотчас восторженно затряс своей гривой, издав победное

«Ии-аа!».

— Да, добрые и скромные помощники человека в его повседневных трудах, — продолжал Гавриил, — вы будете вознаграждены Великой Историей, которая начинается нынче ночью, и награда послужит вашей вящей славе.

Однажды в воскресенье — это воскресенье назовут впоследствии Вербным — Господь отвяжет в деревне Вифании неподалеку от Масличной горы ослицу с осленком. Апостолы положат плащ на спину молодого осла, на котором никто еще не ездил, и Иисус сядет на него. И Господь совершит свой торжественный въезд в Иерусалим через Золотые Ворота, красивейшие ворота в городе. Ликующая толпа будет встречать пророка из Назарета криками: «Осанна сыну Давидову!», и ослик будет ступать по ковру из пальмовых ветвей и цветов, которыми жители города выстелют мостовую. А ослица будет следовать за ними, крича: «Ии-аа! Ии-аа!», чтобы объяснить всем: «Это мой осленок! Мой сынок!», потому что такой гордости не довелось испытать ни одной ослице в мире.

Вот каким образом кто-то наконец впервые подумал о нас, ослах, о наших нынешних бедах и грядущих радостях. Но для этого понадобилось,

чтобы на землю прямо с небес спустился архангел. И я сразу почувствовал, что меня приняли в большую Рождественскую семью. Я больше не был непонятым одиночкой. Какую чудесную ночь могли бы мы провести все вместе в уюте нашей общей, святой бедности! И после скоромного утра полакомиться вкусным обедом!

Увы! Богатые всегда вмешиваются во все. Они в самом деле ненасытны, они хотят завладеть всем, даже бедностью! Кто бы мог вообразить, что эта обездоленная, устроившаяся между волом и ослом семья привлечет к себе царя? Я сказал — царя; какое там! Трех царей, да вдобавок настоящих восточных владык с роскошной и шумной свитой, с верховыми животными и балдахинами!

Пастухи успели удалиться, и безмолвие снова окутало эту удивительную ночь, как вдруг деревенские улочки наполнились громкими звуками. Бряцали удила, шпоры, оружие, в свете факелов сверкали пурпур и золото, раздавались приказы и возгласы на диковинных языках, и главное — показались странные силуэты животных, прибывших с другого конца света, — тут были нильские соколы, собаки, зеленые попугаи, красавцы кони, верблюды с крайнего юга. Недоставало только слонов.

Сначала любопытство собрало большую толпу. В деревнях Палестины отродясь не видали такого зрелища. Можно сказать, богачи не пожалели денег, чтобы украсть у нас наше Рождество! Но, в конце концов, что слишком, то слишком. Люди стали расходиться и попрятались по домам, в полях и среди холмов. Нам, мелкой сошке, от великих мира сего хорошего ждать не приходится. Лучше держаться от них подальше. Может, бедному сельчанину и подадут когда-нибудь грошовую милостыню, но сколько раз его высекут при этом хлыстом, как и бедного осла, случайно оказавшегося на дороге у властителя.

Так рассуждал мой хозяин. Разбуженный шумом, он собрал свои пожитки, и я увидел, как он прокладывает себе путь в нашем импровизированном хлеву. Мой хозяин — человек решительный, но неразговорчивый. Он молча отвязал меня, и мы покинули охваченную волнением деревню еще до того, как в нее вошли цари.

Таор, принц Мангалурский

Сладкие годы

Вручая принцу Таору коробочку из сандала, инкрустированную перламутром, Сири Акбар улыбался своей обычной двусмысленной улыбкой, вкрадчивой и иронической.

— Вот, принц, последний дар, который посылает тебе Запад. Чтобы добраться до тебя, ему понадобилось три месяца.

Таор взял коробочку, взвесил на ладони, рассмотрел, потом понюхал.

— Легкая, но пахнет приятно, — заметил он.

Потом, повертев коробочку в руках, обнаружил, что она запечатана большой восковой печатью.

— Открой ее, — приказал он, протянув коробочку Сири Акбару.

Молодой человек легонько ударил раз-другой по печати рукояткой меча, печать раскрошилась и рассыпалась пылью. После чего Сири без труда поднял крышку. Коробочка снова перекочевала в руки принца. Она была почти пуста — только в квадратном гнездышке притаился кубик мягкого зеленоватого вещества, присыпанного белой пудрой. Принц осторожно взял его большим и указательным пальцами, рассмотрел на свет,

поднес к ноздрям.

— Пахнет сандалом, как и коробочка. Порошок — это сахарная пудра, зеленоватый цвет напоминает фисташки. А что, если попробовать на вкус?

— Это неразумно, — возразил Сири. — Пусть сначала отведает раб.

Таор пожал плечами:

— Тогда мне ничего не останется.

Он открыл рот, положил в него лакомство. И, закрыв глаза, стал ждать. Потом челюсти его слегка задвигались. Говорить он не мог, но взмахом рук выразил свое удивление и удовольствие.

— Да, это фисташки, — наконец вымолвил он.

— Они называют это *рахат-лукум*, — уточнил Сири. — Что на их языке означает «услада гортани». Стало быть, это фисташковый рахат-лукум.

Дело в том, что принц Таор Малек больше всего на свете ценил кондитерское искусство, а из всех добавок, которыми пользовались его повара, предпочтение отдавал фисташкам. Он даже приказал посадить в своем саду целую рощу фисташковых деревьев, о которых усердно заботился.

Сомнений не было, в состав мягкой толщи маленького мутно-зеленого кубика, присыпанного

сахарной пудрой, входили фисташки. Входили в состав? Нет, скорее, этот кубик пел гимн фисташкам, прославлял их. Таинственный рахат-лукум, поскольку таково было его имя, явившийся из стран заката, являл собой высшую ступень культа фисташек, фисташки становились в нем чем-то большим, нежели фисташки, можно сказать — сверхфисташками…

На простодушном лице Таора было написано живейшее волнение.

— Надо было показать кубик моему главному кондитеру. Может, он узнал бы…

— Не думаю, — сказал Сири, улыбаясь все той же улыбкой. — Это лакомство совершенная невидаль, оно не имеет ничего общего со здешними.

— Ты прав, — согласился удрученный принц. — Но почему они прислали мне только один экземпляр? Они что, нарочно хотели меня огорчить? — спросил он, надувшись как ребенок, который вот-вот расплачется.

— Отчаиваться не надо, — сказал Сири, вдруг став серьезным. — Мы можем, собрав немногие известные нам сведения о коробочке и ее содержимом, отправить на Запад гонца с приказанием узнать рецепт фисташкового рахат-лукума.

— Отлично, так и сделаем! — поспешно согла-

сился Таор. — Но пусть раздобудет не только рецепт. Пусть привезет побольше самого этого… как ты сказал?

— Фисташкового рахат-лукума.

— Именно. Найди же надежного человека. Нет, лучше двоих. Дай им денег, золота, рекомендательные письма, все, что может понадобиться. Сколько времени это займет?

— Надо дождаться зимнего муссона, чтобы пуститься в путь, и воспользоваться летним, чтобы вернуться. Если все пойдет хорошо, через год и два месяца они будут обратно.

— Год и два месяца! — с ужасом воскликнул Таор. — Тогда уж лучше поехать самим.

* * *

Таору было двадцать лет, но княжеством Мангалуру, расположенным на Малабарском берегу в юго-западной части Деканского полуострова, по смерти своего супруга магараджи Таора Малара правила мать принца. Похоже было, что жажда власти у магарани Таор Маморе все усиливается по мере того, как блекнет ее когда-то ослепительная красота, и что главная забота магарани — держать наследного принца в стороне от государственных дел, которые она желает

решать сама. Для пущей верности магарани приставила к сыну наперсника, родители которого были ее клевретами и который усердно исполнял возложенную на него миссию. Делая вид, что готов потворствовать любой прихоти наследника, лишь бы тот был счастлив, Сири Акбар поощрял Таора заниматься всякой чепухой, развивавшей в принце лень, чувственность и, главное, неумеренную страсть к сладостям, какую он начал проявлять еще с малолетства. Честолюбивый раб, управляемый единственным желанием — получить свободу и добиться высокого положения при дворе, Сири Акбар был трезв и умен, однако было бы несправедливо утверждать, что его подчинение воле магарани и развращающая преданность Таору были одним лишь двоедушием. Сири был не лишен искренности и даже некоторой наивности и на свой лад любил свою госпожу и ее сына, не всегда умея провести грань между самовластием первой, гурманством второго и собственным честолюбием, которое побуждало его подчиняться как магарани, так и принцу. Дело в том, что обитатели Мангалуру отличались редким простодушием, ибо жили они обособленно, отделенные от других народов рубежами моря и пустыни. Вот почему к

началу нашей истории принц Таор не только ни разу не покидал своих владений, но даже редко выходил за пределы дворцового сада.

Зато Сири усердно поддерживал сношения с торговцами из далеких стран, чтобы удовлетворить любопытство и гурманство своего господина. Он и купил ему у арабских корабельщиков коробочку, содержавшую кубик рахат-лукума, и перед отплытием заставил их взять на корабль двух лазутчиков, которые должны были проникнуть в тайну маленького восточного лакомства.

Прошли месяцы. Северо-восточный муссон, унесший мореплавателей, сменился юго-восточным, приведшим их обратно. Они тотчас явились во дворец. Увы, они не привезли ни рахат-лукума, ни его рецепта. Напрасно изъездили они Халдею, Ассирию и Месопотамию. Может, им следовало отправиться дальше на запад, до самой Фригии, подняться потом на север, к Вифинии, или, наоборот, повернуть прямо на юг, к Египту? Вынужденные подчиняться власти сменяющихся муссонов, они оказались перед трудным выбором. Если бы они продолжали свои поиски, они пропустили бы время, благоприятное для возвращения на Малабарский берег. И тогда потеряли бы целый год. Быть может, они и пошли бы на эту

отсрочку, если бы им нечего было сообщить принцу Таору. Но они привезли интересные известия. Дело в том, что на бесплодных землях Иудеи и в пустынных горах Неффалима они повстречали удивительных людей. Прежде безлюдные эти места кишели теперь отшельниками, столпниками и одинокими пророками, одетыми в верблюжьи шкуры и вооруженными посохом. Заросшие бородой и волосами, они выходили из своих пещер и, сверкая глазами, проповедовали, обращаясь к приезжим путешественникам, возвещали им конец света и предлагали искупать их в водах озер и рек, чтобы смыть с них грехи.

Таор, вполуха слушавший эти рассказы, совершенно для него непонятные, начал терять терпение. Какое отношение все эти дикари, живущие в пустыне, имели к рахат-лукуму и его рецепту?

Самое прямое, отвечали посланцы, некоторые пророки утверждают, что скоро неминуемо появится пища высшего рода, столь прекрасная, что будет навечно утолять голод, столь вкусная, что тот, кто однажды ее отведал, до конца своих дней не захочет никакой другой. Может, они как раз и имеют в виду фисташковый рахат-лукум? Нет, вряд ли, ведь Божественному Кондитеру, кото-

рый должен создать это изумительное кушанье, еще только предстоит родиться. Народ иудейский ждет его появления со дня на день, некоторые, основываясь на священных книгах, полагают, что родится он в Вифлееме, деревеньке, расположенной в двух днях пути на юг от столицы, где когда-то уже увидел свет царь Давид.

Таору казалось, что его посланцы увязли в зыбучих песках религиозных рассуждений. Много ли толку от посулов и предположений. Ему подавай вещественное доказательство, нечто предметное, что можно увидеть, потрогать, а еще лучше — съесть.

Тогда посланцы, переглянувшись, достали из мешка глиняный горшок, большое, хотя и грубоватое, изделие.

— Отшельники, похожие на медведей и называющие себя предтечами Божественного Кондитера, — объяснил один из посланцев, — питаются необычной и очень вкусной смесью. Может, она тоже как бы предвосхищает обещанную пищу, долгожданную и совершенную.

Таор схватил горшок, взвесил на руке, принюхался.

— Тяжелый, но пахнет плохо, — заключил он, протягивая горшок Сири. — Открой его.

Сири сковырнул острием меча грубый деревянный круг, закрывавший горловину сосуда.

— Принесите мне ложку, — приказал принц.

Он извлек ее из горшка, полную золотистой клейкой массы, в которой застряли угловатые насекомые.

— Мед, — констатировал Таор.

— Мед, — подтвердил один из приехавших, — дикий мед. Его находят в сердце пустыни, в расселинах скал и в высохших источниках. А собирают его пчелы в зарослях акаций, которые в короткую весеннюю пору одеты сплошной массой белых, очень душистых цветов.

— И креветки, — добавил Таор.

— Если угодно, — согласился путешественник. — Но только креветки песчаные. Это крупные насекомые, они летают густым роем, уничтожая все на своем пути. Для земледельцев они страшный бич, но кочевники питаются ими и радуются их появлению точно манне небесной. Их зовут саранчой, или акридами.

— Стало быть, это акриды, засахаренные в диком меду, — решил принц и поднес ложку ко рту.

Воцарилось безмолвие, сотканное из ожидания и смакования. Наконец принц вынес приговор:

— Кушанье не столько вкусное, сколько оригинальное, не столько приятное, сколько странное. Этот мед, как ни удивительно, сочетает природную сладость с горчинкой. Что до креветок — или акрид, — их хрусткость придает меду неожиданный солоноватый привкус.

Снова воцарилось молчание — принц зачерпнул вторую ложку.

— Я терпеть не могу соли, но вынужден признаться: как ни странно, соленая сладость слаще сладкой сладости. Чудеса, да и только! Я должен услышать эту фразу из чьих-то других уст. Прошу вас, повторите то, что я сказал.

Приближенные, знавшие маленькие слабости принца, исполнили его приказание. Они повторили дружным хором:

— Соленая сладость слаще сладкой сладости.

— Чудеса! — еще раз сказал Таор. — Такие диковинки встречаются только на Западе! Сири, что, если нам отправиться в эти далекие варварские страны, чтобы привезти оттуда разгадку тайны рахат-лукума, а заодно и некоторых других тайн?

— Принц, я ваш раб! — ответил Сири с иронией, какую он умел вкладывать в самые пылкие изъявления преданности.

Сири, однако, весьма удивился, когда спустя несколько дней узнал, что принц попросил свою мать принять его (он встречался с нею только во время таких аудиенций), чтобы поговорить о своих планах насчет путешествия, а когда сразу после свидания с матерью Таор сообщил Сири, что магарани Маморе одобрила затею и предоставила в распоряжение сына пять кораблей с командой, пять слонов с погонщиками и казначея по имени Драома с казной, полной талантов, сиклей, бек, мин и гер — то есть денег, имеющих хождение по всей Передней Азии, — Сири счел себя одураченным, преданным, погубленным. В одно мгновение рухнул мир Сири Акбара, пошли прахом десять лет терпеливых интриг. Разве Сири мог предвидеть, что фисташковый рахат-лукум, каким он угостил принца, желание магарани любой ценой избавиться от сына и непредвиденный порыв, который, как это бывает с людьми слабохарактерными, наивными и покорными, вдруг овладел Таором, — разве Сири мог предвидеть, что все эти разнородные обстоятельства, соединясь, приведут к таким катастрофическим последствиям? Именно катастрофическим, ибо было совершенно очевидно, что интриган, подобный Сири, может благоденствовать только

поблизости от источника власти, но и магарани, и сам принц, конечно, не сомневались, что Сири Акбар должен сопровождать Таора в этом безрассудном предприятии. Последовавшие за этим недели были, безусловно, одними из самых горьких в жизни Сири Акбара.

По-другому обстояло дело с принцем Таором. Приготовления к отъезду, внезапно заставившие его отказаться от привычного безделья, совершенно его преобразили. Приближенные едва узнавали принца, когда со знанием дела и неожиданной решимостью он принялся составлять список тех, кто поедет с ним, перечень необходимого снаряжения и отбирать слонов, которых предстояло взять с собой. Зато он оказался верен себе, когда речь зашла о том, какие съестные припасы разместить в трюмах кораблей. Потому что корзины, мешки и тюки, набитые плодами псидиума, зизифуса, кунжутом, корицей, виноградом Голконды, флёрдоранжем, сорго, гвоздикой, не говоря уже, конечно, о сахаре, ванили, имбире и анисе, оповещали об истинном смысле путешествия. Один корабль был целиком отдан фруктам — сушеным и засахаренным: плодам манго, бананам, ананасам, мандаринам, зеленым лимонам, инжиру и гранатам, а также

орехам — кокосовым и кешью. Было совершенно очевидно, что экспедиция ставит перед собой кондитерские задачи, и никаких других. Кстати, для этой цели были отобраны специалисты самой высокой квалификации, и в одуряющих ароматах карамели по палубам метались непальские кондитеры, сингалезские мастера приготовления нуги, бенгальские виртуозы варки варенья и даже специалисты по изготовлению молочных блюд, которые спустились с высот Кашмира с бурдюками, наполненными жидким казеином, ячменным отваром, миндальными эмульсиями и бальзамическими смолами.

Друзья узнали привычного Таора и тогда, когда вопреки здравому смыслу он стал настаивать, чтобы в число слонов, которых берут в дорогу, была включена Ясмина. Это и впрямь противоречило здравому смыслу, ибо кто-кто, но Ясмина, молоденькая белая слониха с голубыми глазами, ласковая, хрупкая и изнеженная, была совершенно не приспособлена для изнурительного и долгого плаванья, а потом для тяжелых переходов по пустыне. Но Таор любил Ясмину, которая отвечала ему взаимностью: когда принц угощал слониху пирожным с кокосовым кремом, юная толстокожая особа с томным взглядом так тро-

гательно обвивала его шею хоботом, что трудно было сдержать слезы умиления. Таор решил, что Ясмина будет плыть на том же корабле, что и он сам, и ей будет отдан весь запас розовых лепестков.

Корабли ожидали в Мангалурской гавани, для слонов были приготовлены тяжелые покатые сходни. Но день отплытия зависел от каприза ветра, потому что летние муссоны уже давно прекратились и настал период ненастья, что обыкновенно предшествует перемене ветра и погоды. Бури сменялись проливными дождями, путешественники помрачнели, некоторые задавали себе вопрос, не следует ли видеть в этом гневе небес дурное предзнаменование. Кое-кто отступился. Но тут небо прояснилось, сухой и свежий восточный ветер, возвещавший наступление зимних муссонов, разогнал облака. Этого сигнала только и ждали. Приступили к погрузке слонов. Если бы можно было загнать их всех на один корабль, было бы гораздо легче — помогло бы стадное чувство. Но оно же сводило на нет все усилия загнать каждого слона на борт по отдельности; приходилось прибегать к хитрости, действуя кнутом и пряником, чтобы разлучить их и погрузить на корабли. Когда очередь дошла

до Ясмины, дело стало казаться безнадежным. Охваченная паникой, она истошно ревела, сбрасывая с себя наземь вцепившихся в нее людей. Пришлось пойти за Таором. Он долго ласково уговаривал слониху, почесывая ее впалый лоб. Потом завязал ей глаза шелковым платком, чтобы ее ослепить, и, когда она положила хобот ему на плечи, вместе с ней поднялся на палубу.

Поскольку на каждом судне было по слону, каждое получило имя того слона, который на нем оказался: «Боди», «Джина», «Вахана», «Асура» и, конечно, «Ясмина». Погожим осенним днем корабли друг за другом вышли из гавани, распустив паруса. Похоже было, что из тех, кто пустился в этот путь, как людей, так и животных, Таор больше всех радуется предстоящим приключениям и меньше всех жалеет о том, что он покидает. Принц и впрямь только мельком взглянул на Мангалуру, когда его сложенные из розового кирпича и сбегавшие по склонам холма дома стали удаляться, словно бы отворачиваясь от маленькой флотилии, которая уходила на запад.

Плавание началось просто и легко. Они шли правым бакштагом, под равномерным свежим ветром, помогавшим держать правильный курс. Поскольку корабли сразу же удалились от бере-

га, им не приходилось опасаться ни рифов, ни мелей, и даже пираты, которые нападали только на каботажные суда, после нескольких часов плавания уже не представляли для них угрозы. Плавание по Оманскому заливу прошло бы вообще без сучка и задоринки, если бы в первый же вечер не взбунтовались слоны. Эти животные привыкли, пока в них нет нужды, подолгу оставаться на свободе в царских лесах, целыми днями спать в тени листвы, а с заходом солнца всем стадом отправляться на водопой. Поэтому, когда настали сумерки, они забеспокоились; и поскольку корабли шли борт о борт, едва взревел старый слон Боди, на других кораблях поднялся невообразимый шум. Сам по себе шум был не страшен, но ревущие животные переваливались с боку на бок, наотмашь хлеща хоботом по бортам корабля. Казалось, грохочут тамтамы, а качка все усиливалась, теперь уже внушая тревогу.

Таор и Сири, которые шли на флагманском корабле «Ясмина», могли переправляться на другие суда на лодках, а когда корабли сближались, по перекинутым между ними мосткам. Но они держали связь с капитанами других кораблей также при помощи условленных сигналов, передавая их взмахом страусовых перьев. Этим последним спо-

собом они и воспользовались, чтобы приказать кораблям рассеяться. В самом деле, необходимо было добиться, чтобы животные перестали будоражить друг друга своим ревом. Одна только Ясмина внешне оставалась спокойной, но по тому, как она шевелила ушами, видно было, что слониха волнуется, должно быть воображая, что весь этот шум поднят в ее честь. На другой день тревога повторилась, но улеглась уже гораздо быстрее, потому что пять парусников шли теперь на большом расстоянии друг от друга.

На десятый день путешественников ждало новое испытание. Ветер дул по-прежнему ровно и в том же направлении, но мало-помалу он стал усиливаться, так что с «Ясмины» при помощи перьев был дан приказ приспустить паруса. К вечеру испещренный молниями горизонт, навстречу которому они шли, почернел, и стало ясно, что надвигается буря. Час спустя наступила непроглядная тьма, и пять кораблей потеряли друг друга из виду. Последующие несколько часов были ужасны. Паруса почти совсем убрали, чтобы корабль не развернуло поперек валов. Он летел, подгоняемый шквалистым ветром, то взмывая на гребень волны и мчась тогда с ужасающей скоростью, то низвергаясь в сине-зеленую пучину.

Таора, неосторожно вышедшего на полубак, оглушило и едва не смыло девятым валом. Так уже во второй раз этот юноша, с детства обреченный сладостям, познакомился с солью, подвергшись теперь чудовищно грубому крещению. Судьба готовила ему третье испытание солью, куда более мучительное и долгое!

Но в настоящую минуту Таора больше всего беспокоила Ясмина. С началом бури, когда юную слониху-альбиноску стало швырять взад и вперед и из стороны в сторону, она заревела от страха, а под конец не устояла на ногах. Она рухнула на бок в соленую жижу, прикрыв веками ласковые голубые глаза, и с ее губ срывался теперь только слабый стон. Таор много раз спускался к ней, но ему пришлось отказаться от этих посещений после того, как от толчка, сотрясшего корабль, его бросило прямо в испражнения, которыми был загажен пол, и его любимица едва не раздавила его своей тушей. И однако это первое испытание не заставило его пожалеть о том, что он уехал из дому, потому что, удаляясь от Мангалуру во времени и в пространстве, Таор начинал понимать, на какую ничтожную жизнь, между зизифусами и фисташковыми деревьями, обрекла его мать. Правда, он угрызался из-за Ясмины, совершенно

беззащитной перед испытаниями дальнего путешествия.

Зато Сири Акбара буря преобразила. Он, который все это время держался замкнуто и дулся, теперь как бы вернулся к жизни. Он раздавал приказания и распределял обязанности с хладнокровием, в котором, однако, чувствовался восторженный подъем. Таор должен был признать, что его товарищ и первый раб, во дворце думавший только о том, как бы с помощью ловких интриг сделать карьеру, словно вырос и очистился в схватке с грубой стихией, и это подтверждало, что мы сами всегда в какой-то мере отражение наших замыслов и встретившихся на их пути препятствий. При вспышке молнии увидя на мгновение лицо Сири, Таор был поражен необычной его красотой, сотканной из мужества, трезвости ума и юношеского пыла.

Буря кончилась так же внезапно, как началась. Но флагману пришлось целых два дня кружить на месте, чтобы найти три пропавших корабля. Это были «Боди», «Джина» и «Асура». Четвертый, «Вахану», обнаружить так и не удалось, пришлось продолжать путь на запад, смирившись с тем, что корабль, по крайней мере временно, потерян.

Оставалась, вероятно, еще неделя плавания

до острова Диоскорид у входа в Аденский залив, когда команда «Боди» с помощью перьев подала сигнал бедствия. Таор и Сири тотчас переправились на борт этого корабля. То ли Боди искусали насекомые, то ли он отравился испортившейся пищей, то ли просто не смог вынести боковую и килевую качку в своем трюме, но старого слона, казалось, охватило бешенство. Он как безумный метался по трюму, в ярости набрасываясь на каждого, кто отваживался спуститься вниз, а когда рядом никого не было, исступленно бился о перегородки. Положение становилось критическим, потому что вес слона, его сила и грозные бивни внушали опасение, что он может всерьез повредить корабль. Связать Боди или повалить его оказалось невозможно, а так как он перестал принимать пищу, его нельзя было ни усыпить, ни отравить. Впрочем, последнее обстоятельство как раз внушало и отдаленную надежду — силы слона должны были в конце концов иссякнуть. Но продержится ли до тех пор корабль? Рискуя взбудоражить Ясмину ревом старого самца, решили все же, что флагманский корабль будет держаться поблизости от «Боди».

На другой день слон, поранивший себя о железную обивку трюма, начал истекать кровью. Через

два дня он сдох.

— Надо как можно скорее разрубить тушу на части и бросить куски за борт, потому что мы приближаемся к суше и к нам могут пожаловать незваные гости, — сказал Сири.

— Какие гости? — спросил Таор.

Сири вгляделся в глубины небесной сини. Потом указал рукой на крохотный черный крестик, неподвижно зависший на громадной высоте.

— Вот они, — сказал он. — Боюсь, что наши старания ни к чему не приведут.

И в самом деле, два часа спустя, вертя во все стороны белой головой с черной бородкой, на корабельную стеньгу опустился орел-ягнятник. А вскоре к нему присоединилась еще дюжина его собратьев. Внимательно осмотрев все вокруг — людей за работой и развороченную тушу слона, — они камнем упали в трюм. Матросы, боявшиеся этих священных птиц, попросили приюта на «Ясмине». А «Боди» был покинут на произвол судьбы. К тому времени, когда корабль скрылся из виду, тысячи орлов-ягнятников кишели на его мачтах, реях и мостиках, вихрем кружились по трюму.

На сорок пятый день после выхода из Мангалуру «Ясмина», «Джина» и «Асура» вошли в

Баб-эль-Мандебский пролив, «Врата Слез», который соединяет Красное море с Индийским океаном. Это было достаточно быстро, но два из пяти кораблей были потеряны. Теперь нужно было по крайней мере тридцать дней, чтобы по Красному морю доплыть до Эйлата. Решено было зайти на остров Диоскорид, который, как часовой, сторожит вход в пролив, и сделать там привал, потому что и люди, и животные давно нуждались в отдыхе.

Таор впервые ступил на чужую землю. Легкий, радостный хмель кружил ему голову, когда он взбирался по безлесым, заросшим дроком и репейником склонам горы Хаджар, а за ним вприпрыжку поспевали три слона, довольные тем, что могут размять ноги. Путешественникам все здесь было внове: сухая бодрящая жара, колючая, с сильным запахом растительность — мирты, мастиковые деревья, аканты, иссоп — и даже стада длинношерстных коз, в испуге разбегавшихся при виде слонов. Но куда больше перепугались бедные обитатели острова, бедуины, увидев, как на берег высадились нарядные господа в сопровождении невиданных чудищ. Путешественники проходили мимо закрытых наглухо палаток, куда попрятались даже собаки, по деревне, которая ка-

залась совершенно безлюдной, но чувствовалось, что сотни глаз следят за ними сквозь дверные и оконные щели и прорехи в ткани. Путники взобрались уже почти на самую вершину горы, где гулял такой холодный ветер, что, хотя они и разгорячились от подъема, их стал бить озноб, и тут их остановил одетый в черное красивый мальчик, бесстрашно вставший посреди дороги.

— Мой отец, Рабби Рицца, ждет вас, — просто сказал он.

Мальчик повернулся и, никого не спросясь, зашагал во главе колонны. В круге, очерченном скалистыми уступами и расцвеченном асфоделями, приземистые палатки кочевников сливались как бы в один фиолетовый каркас; время от времени вздуваясь от врывавшегося внутрь ветра, они напоминали колеблемую дыханием грудь.

Рабби Рицца в синем бурнусе и в сандалиях, закрепленных ремешками, принял путников у очага, где горели эвкалиптовые поленья. После взаимных приветствий все расселись вокруг огня. Таор понял, что имеет дело с вождем, с господином — словом, с ровней. И в то же время он был поражен убожеством окружающей обстановки. В его представлениях бедность была неотделима от рабства, а богатство — от знатности, и он

никак не мог представить себе одно без другого. Рицца не спрашивал гостей, откуда они явились и куда идут. Разговор ограничивался вежливыми пожеланиями и напутствиями. Но в особенности изумился Таор, когда какой-то мальчик принес Рабби Рицце миску с мукой грубого помола, кувшин воды и горшочек с солью. Вождь сам замесил тесто и, размяв его на плоском камне, придал ему форму круглой и довольно толстой лепешки. Потом, сделав прямо перед собой в песке небольшое углубление, бросил туда лопатой немного золы и раскаленных углей из очага и положил на них лепешку. Потом Рабби Рицца прикрыл ее веточками и поджег их. Когда веточки сгорели, он перевернул лепешку и покрыл другими веточками. Наконец извлек лепешку из ямки и метелочкой из дрока смахнул с нее золу. Потом, разломив лепешку на три части, протянул одну из них Таору, другую Сири. И принц Мангалурский, привыкший к изысканным яствам, изготовляемым целой армией поваров и поварят, сидя на земле, стал есть этот серый с пылу с жару хлеб, чувствуя, как на зубах у него хрустят песчинки.

Зеленый мятный очень сладкий чай, который разливали в крохотные чашки из высоко поднятого чайника, вернул Таора к более зна-

комым обычаям. Но вот Рицца нарушил долгое молчание. Легкая улыбка, сопровождавшая его речь, и то, что говорил он о простых и насущных предметах — о странствии, о пище, о напитках, — наводили на мысль, что он просто подхватил нить прерванного незначащего разговора. Но скоро Таор понял, что это не так. Рабби рассказывал историю, басню, притчу — Таор понимал ее лишь отчасти, словно в ее зеленоватой толще плохо различал наставление, адресованное лично ему, хотя рассказчик почти ничего о нем не знал.

— Наши предки, первые бедуины, — начал Рицца, — не были, как мы теперь, кочевниками. Да и зачем им было кочевать? Зачем было покидать роскошный, цветущий вертоград, куда их поместил Господь Бог? Стоило им протянуть руку, и они срывали вкуснейшие плоды, под тяжестью которых сгибались ветви самых разнообразных деревьев. Ибо в этом саду не было двух одинаковых деревьев, на которых произрастали бы сходные плоды.

Быть может, ты возразишь мне: еще и поныне в иных городах или возле оазисов сохранились дивные сады вроде того, о котором я рассказал. Почему, вместо того чтобы воспользоваться ими и поселиться в них, мы предпочитаем неустанно

бродить по пустыне вслед за нашими стадами? В самом деле, почему? Это важнейший вопрос, в ответе на который заключена вся мудрость. И ответ этот таков: нынешние сады и плоды совсем не похожи на те, что вскармливали наших предков. Нынешние плоды тяжелы и темны. Прежние были светлы и невесомы. Что это значит? А то, что нам, падшим и выродившимся, очень трудно представить себе жизнь наших предков! Подумай, мы ведь дошли до того, что признали справедливость пословицы: «Голодное брюхо к учению глухо». А во времена, о которых я веду речь, живот, жаждущий пищи, и уши, жаждущие знания, составляли одно, ибо одни и те же плоды утоляли и тот, и другой голод. В самом деле, эти плоды различались не только формой, цветом и вкусом — каждый из них обучал особой науке. Одни давали знание растений и животных, другие — математики, были плоды, наставлявшие географии, музыкальным искусствам, архитектуре, танцам, астрономии и многому другому. Даруя знания, они наделяли отведавшего их соответствующими добродетелями: мореплавателей мужеством, цирюльников-костоправов добротой, историков честностью, геологов верой, лекарей преданностью, преподавателей

терпением. В ту пору человек был приобщен к божественной простоте. Душа и тело были слиты воедино. Рот, пурпурная завеса, и за ней двойное полукружие эмалированных лесенок, фонтаны слюны и печные отверстия ноздрей служили живым храмом словам, которые насыщают, и пище, которая поучает, истине, которую едят и пьют, плодам, которые переплавляются в мысли, заветы и откровения…

Падение человека раскололо истину надвое. Пустое, полое, лживое слово лишилось способности насыщать. И пища, тяжелая, плотная, непрозрачная и жирная, затемняет разум и превращается в отвислые щеки и животы!

Что же делать? Мы, кочевники пустыни, избрали самое решительное воздержание при самой одухотворенной физической деятельности — ходьбе. Мы едим хлеб, винные ягоды, финики и то, что дают нам наши стада, — молоко, очищенное масло, изредка сыр, еще реже мясо. И мы ходим. Мы мыслим нашими ногами. Ритм шагов определяет ход наших размышлений. Наши шаги вторят движению нашей мысли, ищущей истину, — конечно, истину скромную, под стать нашей пище. Мы стараемся преодолеть раскол между пищей и познанием, до предела упростив

и то и другое, ибо мы убеждены, что, изощряя их, мы усугубляем разрыв между ними. Конечно, мы не надеемся примирить их только нашими собственными силами. Нет. Чтобы свершилось возрождение, нужна сила сверхчеловеческая, воистину божественная. Но мы ждем этой революции и верим, что благодаря умеренности в пище и длинным пешим переходам через пустыню нам будет особенно легко понять, принять эту революцию и приобщиться к ней, когда бы она ни совершилась, завтра или через двадцать столетий.

Не все в этой речи дошло до Таора, далеко не все. Перед ним словно бы сгустились черные тучи, грозные, непроглядные, но их прочерчивали вдруг зигзаги молний, на мгновение озарявшие частицы пейзажа, бездонные глубины. До Таора не дошла суть этой речи, но он сохранил ее целиком в своем сердце, предчувствуя, что она станет приобретать для него пророческий смысл, по мере того как будет продолжаться его странствие. Так или иначе, сомнений уже не было: рецепт фисташкового рахат-лукума, из-за которого он, собственно говоря, покинул Мангалурский дворец, подергивается дымкой, начинает казаться наживкой, выманившей его из детского рая, или

становится своего рода символом, значение коего еще предстоит расшифровать.

Со своей стороны честолюбец Сири Акбар, чуждый гурманским заботам своего господина, извлек из встречи с Рабби Риццей только один урок, расшатавший, однако, его былые умственные построения. Сири понял, что можно сочетать подвижность, которая требует легкости и отказа от богатства, с волей к власти и неукротимой хищностью. Правда, Рицца ни словом не обмолвился об этом. Но Сири пристально вгляделся в аскетически суровое лицо Рабби, в свирепые черты его товарищей, в их худые тела, причем чувствовалось, что они неутомимы и не боятся страданий, а во мраке палаток он рассмотрел силуэты окутанных покрывалами женщин и тусклый блеск оружия. Все говорило здесь о силе, быстроте и алчности, тем более грозной, что ей сопутствовало полное презрение к богатству и его неге.

Таор и Сири были поражены, когда, оказавшись на борту «Ясмины», обменялись впечатлениями и обнаружили, что увозят с острова Диоскорид, где ни на мгновение не расставались друг с другом, совершенно различные мысли, образы и впечатления. Путешествуя сообща, они с каждым

днем все больше удалялись друг от друга.

В еще большей мере это относилось к Ясмине, юной голубоглазой слонихе-альбиноске. В течение сорока дней запертая в движущейся клетке трюма на корабле, носившем ее имя, она не раз уже думала, что умирает, в особенности во время бури. Потом ей под ноги подсунули мостки, по которым можно было сойти на берег, и она с изумлением обнаружила рядом с собой своих старых приятелей Джину и Асуру. Но где же Боди и Вахана? И какая странная у нее под ногами земля — сухая, песчаная, обрывистая, поросшая скудной колючей растительностью. Еще более странными показались Ясмине местные жители, удивившие ее не только своей одеждой, телом и лицом, но и изумленным, испуганным и восхищенным взглядом, какой они устремляли на слонов — неведомое на острове Диоскорид животное. Трое толстокожих произвели сенсацию в деревнях, через которые они проходили. Женщины бросались от них врассыпную и запирались с маленькими детьми в своих домах. Мужчины оставались невозмутимы. Но ватага подростков неизменно провожала монументальный кортеж, иногда играя на музыкальных инструментах. И поскольку Ясмина была хитрая бестия, она

очень скоро заметила, что, несмотря на свой малый рост, она вызывает любопытство не только не меньшее, чем ее приятели, но даже более почтительное, более одухотворенное, — его порождает снежная белизна ее шкуры, окрашивает умилением голубизна ее глаз и углубляет пламенеющий рубин ее зрачков. Не такая громоздкая, более легкая, чем два других слона, вся сочетание белого, голубого и красного, она принимала знаки почтения от избранных. Вот тут-то и родилось в ее простодушном сердце незнакомое пьянящее чувство гордости, которому предстояло завести ее далеко, очень далеко, гораздо дальше, чем следовало.

Так и плыли на одном корабле принц, раб и слониха, предаваясь каждый своим мечтам, совершенно несходным, но в равной мере неопределенным и бесконечным.

* * *

Плаванье продолжалось двадцать девять дней, и ни одно сколько-нибудь заметное происшествие не нарушило медленного движения охряных, опаленных знойным солнцем берегов, которые появлялись иногда в поле зрения путешественников: с правого борта Аравия, с

левого — Африка, разнообразясь громадами вулканов, глубокими бухтами или устьями пересохших рек.

Наконец они подошли к Эйлату — идумейскому порту в глубине Акабского залива, где их ждала воистину ошеломляющая новость. Юнге с «Джины», взобравшемуся на марс, первому показалось, что среди кораблей, стоящих на якоре в порту, он узнает знакомый силуэт. На нос каждого из трех кораблей высыпали взволнованные путешественники. Вскоре сомнения рассеялись: да, это была «Вахана», которую они потеряли из виду во время бури, — невредимая и благоразумная, она поджидала теперь прибытия своих спутников. Все радовались встрече. Команда «Ваханы», думая, что остальная флотилия ушла вперед, мчалась на всех парусах, чтобы ее догнать. На самом же деле она опередила всех. «Вахана» уже три дня стояла в Эйлате, и мореходы начали опасаться, не случилось ли беды и не пошли ли ко дну во время бури четыре остальных корабля.

Но объятиям и рассказам пришлось положить конец, чтобы выгрузить слонов и привезенные для продажи товары. И снова при виде необычного кортежа собрались огромные толпы зевак, и опять-таки Ясмина, сдержанная, но втайне лику-

ющая, пожинала самые восторженные похвалы. У ворот города разбили лагерь, поскольку необходимо было отдохнуть. Во время этого краткого привала между принцем Таором и Сири Акбаром произошла первая стычка, показавшая принцу, насколько его раб — может быть, правильнее было бы назвать его уже «бывший раб» — изменился со времени отъезда из Мангалуру. Конечно, во время плавания то и дело возникали непредвиденные обстоятельства, корабли шли порой далеко друг от друга, и это оправдывало вольности, которые стал себе позволять Сири, каждый день отдававший приказания, не посоветовавшись с Таором и даже не сообщая ему о них. Но когда люди и животные соединились на суше, образовав единый караван, направляющийся к северу (до Вифлеема, деревни, о которой упоминали пророки из пустыни, оставалось двадцать дней пути), необходимо было, чтобы власть сосредоточилась в одних руках, и естественно — в руках принца Таора. Это понимали все, и в первую очередь сам Сири Акбар, но ему, без сомнения, это было не по вкусу. Поэтому на второй день после высадки он явился к принцу и повел с ним разговор, который поверг Таора в глубочайшее смятение. Четырем кораблям предстояло ждать несколько недель, а

может, даже несколько месяцев, пока вернется караван. Сохранить корабли было необходимо, чтобы экспедиция могла, как только подует летний муссон, вернуться в Мангалуру. Поэтому на борту следовало оставить маленькую команду. Все это принц Таор понимал и предвидел сам. Но он так и подпрыгнул, когда Сири предложил сам возглавить этих людей и остаться в Эйлате. Конечно, поручить охрану кораблей следовало человеку, облеченному доверием, однако речь шла всего лишь об охране, а для этого не требовалось ни предприимчивости, ни способности держать людей в подчинении, ни особого ума. Зато поход на север был сопряжен с риском и неожиданностями. Как же Сири, верный слуга, приставленный к особе принца, мог даже подумать о том, чтобы его бросить?

Таор был так откровенно поражен и разочарован, что Сири пришлось пойти на попятный. Он еще пытался слабо защищаться, утверждая, что самый большой риск для принца и его спутников — не найти в Эйлате кораблей, на которых можно будет вернуться на родину, и против этой-то опасности и следует принять самые решительные меры. Но Таор на это возразил, что совершенно полагается на преданность и

храбрость тех, кого он оставит охранять корабли, однако он никогда не согласится разлучиться с преданным Сири.

Когда раб удалился, на лице его была написана досада, до неузнаваемости исказившая его черты.

Этот случай заставил призадуматься Таора, который, с тех пор как покинул двор, все решительней освобождался от былой наивности. Изо дня в день он упражнялся в занятии, тратить время на которое ему и в голову не пришло бы в Мангалуру и которое вообще совершенно чуждо великим мира сего: он ставил себя на место других, пытаясь таким образом угадать, что они чувствуют, что думают и каковы их намерения. И вот когда Таор поставил себя на место Сири, перед его глазами разверзлась бездна. Таор понял, что полнейшее самоотречение и преданность, какие выказывает ему Сири, проистекают вовсе не из его природных свойств, как до сих пор полагал, во всяком случае неосознанно, Таор, но что во всем этом кроется, вероятно, доля расчета, сомнений и даже предательства. Заявив своему господину, что хочет остаться в Эйлате с кораблями, Сири окончательно отрезвил его. Став недоверчивым и подозрительным, Таор предположил, что Сири

вознамерился завладеть кораблями, чтобы переоснастить их по-своему и в ожидании каравана заняться каботажным плаванием. А может, даже пиратством, на редкость прибыльным ремеслом в районе Красного моря. Кто поручится, что, когда Таор вернется из Вифлеема, его флотилия будет преданно ждать его на якоре в порту Эйлата?

Наконец караван двинулся в путь. Но Таор, покачиваясь в такт мягкой поступи слонов, продолжал предаваться мрачным раздумьям. Отношения его с Сири изменились: они не столько ухудшились, сколько стали более взрослыми, более зрелыми, в них появилось больше проницательности, в них обида сочеталась со снисходительностью, в них грозила отныне проникнуть та доля независимости и тайны, которая свойственна каждому человеческому существу, — словом, это были теперь истинно мужские отношения.

В первые дни их медленного продвижения на север ничего примечательного не случилось. На красноватой земле, изрытой водными потоками, которые иссякли много тысячелетий назад, и осыпавшейся теперь под широкими ступнями слонов, не было видно ни души, ни былинки. Потом мало-помалу земля стала приобретать зеленый

оттенок, и колонне приходилось теперь петлять по пересеченной местности, углубляясь в ущелья или следуя по пересохшему руслу рек. Особенно сильное впечатление производили на путников скалы, их остроконечные вершины и каменистые кручи — они образовывали гигантские фигуры, будившие воображение. Вначале люди смеясь показывали друг другу вставших на дыбы коней, распустивших крылья страусов и крокодилов. Но с наступлением вечера они умолкли, в тревожной тоске проходя под сенью драконов, сфинксов и гигантских саркофагов. Наутро они проснулись в малахитовой долине изумительнейшего зеленого цвета, густого и матового, — это была знаменитая «долина каменосеков», в которой, согласно Писанию, восемьдесят тысяч человек добывали камень для постройки иерусалимского храма. Долина заканчивалась замкнутым амфитеатром — это были знаменитые медные рудники царя Соломона. Здесь не было ни души, и спутники Таора могли углубиться в лабиринт галерей, бегать по вырубленным прямо в скале ступеням, спускаться по трухлявым приставным лесенкам в бездонные колодцы и, окликая друг друга, собираться в громадных залах, чьи своды, освещенные причудливым светом факелов, на-

полняло гулкое эхо.

Таор не мог понять, почему посещение подземелья, где трудились и страдали многие поколения людей, наполнило его сердце мрачными предчувствиями.

Они снова двинулись на север. Дорога становилась все более ровной по мере того, как почва вновь обретала естественный сероватый оттенок. Путникам все чаще попадались гладкие, как плиты, камни, а потом земля вокруг оказалась покрытой ровным и плоским щебнем. Вдруг на горизонте возник силуэт дерева. Таор и его товарищи никогда еще не видели таких деревьев. Толщина изборожденного рытвинами ствола казалась огромной по сравнению с небольшой высотой дерева. Из любопытства они ее измерили — оказалось сто футов. При этом морщинистая, пепельного цвета кора была на удивление мягкой и податливой — клинок погружался в нее, не встречая никакого сопротивления. Голые в это время года ветви, короткие и скрюченные, тянулись к небу, словно молящие культи. Было в этом зрелище что-то и трогательное, и отвратительное — доброе и безобразное чудовище, к которому можно привязаться, если узнать поближе. Позднее им объяснили, что это

баобаб, африканское дерево, название которого означает «тысяча лет», потому что баобаб отличается баснословным долголетием.

Этот баобаб оказался часовым, стоявшим на посту перед целым лесом таких же баобабов, куда караван углубился в последующие дни, — редкий лес, без кустарника и подлеска, вся тайна которого состояла в загадочных надписях, вырезанных на коре некоторых деревьев, как правило самых толстых и старых. В мягкой коре были сделаны насечки, каждый рубец подчеркнут черной, охряной или желтой краской, разноцветные камешки, какими было инкрустировано дерево, образовывали мозаику — она окольцовывала ствол или спиралью вилась по нему до самой вершины. Ни в одной из мозаик нельзя было угадать изображение человеческого лица или фигуры человека либо животного. Это была совершенно абстрактная графика, но такая изысканная, что невольно возникал вопрос: а есть ли у нее какой-то другой смысл, кроме красоты?

Внезапно на их пути выросло дерево столь величавое, что они невольно остановились. Его недавно щедро убрали листьями, ветками лиан и цветами, искусно переплетенными и обвивавшими ствол и ветви. Сомнений не было: эти

украшения имеют религиозный смысл — в этом дереве, разубранном словно идол и воздевшем к небу свои тысячепалые ветви, похожие на заломленные в отчаянии руки, было что-то от храма, от алтаря, от катафалка.

— Кажется, я понял, — прошептал Сири.

— Что ты понял? — спросил принц.

— Это только предположение, но мы его проверим.

Сири подозвал молодого погонщика слонов, маленького и ловкого, как обезьяна, и что-то тихо сказал ему, указывая на макушку дерева. Кивнув, молодой человек тотчас бросился к стволу и стал карабкаться вверх, используя неровности коры. И тут всех участников каравана, молчаливо при этом присутствующих, поразила одна и та же мысль: погонщик взбирался на дерево так, как он взбирался на своего слона; в самом деле, этот баобаб с его громадным серым стволом, узкими, торчащими наподобие хоботов ветвями напоминал слона, слона растительного мира, в то время как слон был баобабом в мире животных.

Погонщик добрался до вершины, откуда торчали все ветви. Казалось, он исчез в какой-то впадине. Но тотчас выбрался из нее наружу и стал спускаться по стволу, явно торопясь поско-

рее покинуть то, что увидел. Спрыгнув на землю, он подбежал к Сири и что-то зашептал ему на ухо. Сири утвердительно кивал головой.

— Так я и думал, — сказал он Таору. — Этот ствол, полый как труба, служит гробницей местным жителям. Дерево потому и украшено, что недавно туда опустили мертвеца, как клинок в ножны. С вершины дерева видно его лицо, обращенное к небу. Разрисованные баобабы, встретившиеся нам на пути, — это живые гробницы племени, о котором мне рассказывали в Эйлате, — племя зовется «баобалис», что значит «сыновья или дети баобаба». Они поклоняются этому дереву, считая его своим предком, в лоно которого надеются вернуться после смерти. В самом деле, сердце дерева, продолжающего свой неторопливый рост, вбирает в себя плоть и кости умершего, и он, таким образом, как бы продолжает жить уже в растительном царстве.

В этот день решено было сделать привал и разбить лагерь у подножия этого гигантского жука-могильщика. И всю ночь живые стоячие могилы окружали спавших темным, тяжелым, гробовым безмолвием, из которого люди вырвались с первыми лучами рассвета, трепещущие, растерянные, словно воскресли из мертвых. И тут

же распространилась горестная весть, повергшая Таора в отчаяние, — Ясмина исчезла!

Сначала решили, что она убежала, потому что по приказу Таора ночью ее оставляли на свободе без всяких пут — ее удерживало возле остальных слонов только стадное чувство. К тому же трудно было поверить, что ее увели силой посторонние и при этом не было слышно никакого шума. Стало быть, Ясмина исчезла по доброй воле. Но все же, по-видимому, дело не обошлось без похитителей, потому что вместе с Ясминой исчезли две корзины с розовыми лепестками, которые она носила на спине днем и от которых ее освобождали по ночам. Напрашивался вывод: похитители действовали в сговоре с Ясминой и при ее участии.

Стали искать, описывая концентрические круги вокруг того места, где ночью стояли слоны, но на жесткой каменистой земле не осталось никаких следов. Первый след, как и должно было ждать, обнаружил сам принц. Он вдруг вскрикнул, бросился вперед, наклонился и двумя пальцами подобрал с земли что-то легкое и хрупкое, как крылышко бабочки, — розовый лепесток. Таор поднял его высоко над головой, чтобы все увидели.

— Прелестная Ясмина оставила нам, чтобы

помочь ее найти, самый нежный и душистый из всех возможных следов, — сказал он. — Ищите, друзья, ищите розовые лепестки! Это весточки от моей юной слонихи, белоснежной и голубоглазой. За каждый найденный лепесток я обещаю награду.

И маленькая группа разбрелась, шаря глазами по земле. Время от времени, испустив победный клич, кто-нибудь подбегал к принцу, чтобы вручить ему лепесток в обмен на монетку. Однако дело продвигалось очень медленно, и, когда стемнело, следопыты оказались часах в двух пути от места, где осталась большая часть каравана с грузом и слонами.

Когда Таор наклонился, чтобы поднять с земли второй из найденных им самим лепестков, над его головой вдруг просвистела стрела, которая, дрожа, засела в стволе фигового дерева. Таор приказал всем остановиться и сбиться в кучу. А вскоре трава и деревья вокруг зашевелились, и путешественников окружила толпа людей с телами, расписанными зеленой краской, в одежде из листьев и с головными уборами из цветов и фруктов.

— Баобалисы, — прошептал Сири.

Их было сотен пять, и все они направили

стрелы своих луков в незваных пришельцев. Сопротивляться было бесполезно. Таор поднял вверх правую руку — знак, понятный всем и призывающий к миру и переговорам. Потом Сири в сопровождении двух проводников, нанятых в Эйлате, подошел к расступившимся перед ним стрелкам. И все трое исчезли и возвратились только по прошествии двух долгих часов.

— Удивительное дело, — рассказывал Сири. — Я видел одного из их вождей. Он же, очевидно, первосвященник. Племя пользуется довольно большой свободой. Нас приняли не так уж плохо, потому что наше появление здесь совпало, по счастью, с воскресением богини Баобамы, матери баобабов и прародительницы баобалисов. Может, это просто совпадение. Но не сыграла ли известную роль в так называемом воскресении Баобамы наша Ясмина? Скоро мы это узнаем. Я просил, чтобы нам позволили поклониться Баобаме. Ее храм находится в двух часах пути отсюда.

— Но где же Ясмина? — волновался Таор.

— То-то и оно, — загадочно ответил Сири. — Меня не удивит, если мы вскоре ее найдем.

Тронувшийся в путь маленький отряд, впереди, позади и с обеих сторон которого шла целая армия

зеленых людей со все так же натянутыми луками, являл собой грустное зрелище: казалось, горстку пленников силой уводят победители — принц Таор и его товарищи именно так и воспринимали происходящее.

Храм Баобамы занимал пространство, ограниченное четырьмя баобабами: они образовали правильный четырехугольник и составляли как бы опору здания. Храмом служила довольно просторная хижина, убранная наподобие тех деревьев-гробниц, какие уже видели Таор и его спутники. Плотная соломенная крыша, лишенные окон стены из тонких планок, сплошь увитые жасмином, вьюном, аристолохией и пассифлорой, — все, как видно, имело целью создать и поддерживать внутри тенистую прохладу. Вооруженные люди держались поодаль от храма, чтобы место поближе к нему освободить для музыкантов, которые дули в тростниковые дудки, били, как в барабан, сухими пальцами по коже антилопы, натянутой на бутылочную тыкву, или, заменяя целый оркестр, исступленно трясли и ногами, обвешанными погремушками, головой, увенчанной медными кружками, и пальцами, на которых висели трещотки. Таор и его свита вступили под балдахин из бамбука, покрытого

бугенвиллией, который был водружен перед входом в храм. Внутри они сначала оказались в своего рода прихожей, служившей сокровищницей и ризницей. Здесь висели на стенах и лежали на подставках громадные ожерелья, расшитые седельные ковры, золотые колокольчики, балдахины с бахромой, серебряные оголовья уздечек — в этой громадной роскошной сбруе богиня должна была являть собой живую раку. Но в настоящую минуту на Баобаме не было никакого убранства. У гостей, поднявшихся на три ступеньки и взошедших на приподнятую над полом площадку, дух занялся, когда они увидели, что на носилках, устланных лепестками роз, со взором, исполненным неги, возлежит Ясмина собственной персоной. Можно было подумать, что она их ждала, потому что в ее голубых глазах блеснули вызов и ирония. В золотистой тени храма только два больших опахала из дрока, приводимые в движение снаружи, медленно колыхались под потолком, освежая воздух. Настало долгое благоговейное молчание. Потом Ясмина развернула хобот и его нежным и ловким, как маленькая пятерня, кончиком взяла из корзины фаршированный медом финик и положила на свой трепещущий язык. Тогда принц подошел

ближе, открыл шелковый мешочек и высыпал на ее носилки пригоршню розовых лепестков, тех, что он сам и его спутники подобрали на земле и что привели их сюда. То был знак почтения и непрекословия. Ясмина его так и поняла. Поскольку Таор оказался поблизости от нее, она вытянула хобот и коснулась его кончиком щеки принца. Это было и выражение любви, и прощание, и сладкая покорность судьбе, и Таор понял, что его любимая слониха, которую из-за сходства толстокожих с баобабами произвели в идолы, обожествили и которой целый народ поклоняется как матери священных деревьев и праматери людей, — словом, он понял, что для него и его товарищей Ясмина потеряна навсегда.

На другое утро они продолжили свой путь к Вифлеему в сопровождении оставшихся трех слонов.

* * *

Эта встреча была судьбоносна, неотвратима, от начала времен начертана на звездах и в сути вещей, произошла она в Етаме, диковинном краю, где шепчутся источники, уходят вглубь провалы пещер и щетинятся развалины, в краю, по которому прошла История, все опрокидывая

на своем пути, но не оставляя никаких внятных следов, — так бывает с раненными в лицо: они страшно изуродованы, а рассказать ничего не могут. И однако встреча тех троих, что возвращались из Вифлеема — пешком, верхом на лошади и на спине верблюда, — с тем, кто шел к боговдохновенной деревне со своими слонами, была озарена мирным и проникновенным светом. Они не могли не встретиться на берегу трех искусственных прудов, известных под именем Соломоновых, когда после целого дня пути по жаре и пыли приготовились спуститься к воде по ступеням, выбитым прямо в камне. И тотчас благодаря тайному сродству пути всех четверых они узнали друг друга. Они обменялись приветствиями, потом помогли друг другу совершить омовение, словно окрестили друг друга. А потом разошлись, чтобы по общему уговору сойтись у костра, где горели ветви акаций.

— Вы видели Его? — был первый вопрос Таора.

— Видели, — ответили хором Каспар, Мельхиор и Бальтазар.

— Кто Он — принц, царь, император, окруженный великолепной свитой? — продолжал расспрашивать Таор.

— Это крохотный ребенок, родившийся на со-

ломе в хлеву, между волом и ослом, — ответили трое.

Мангалурский принц молчал, пораженный недоумением. Тут, наверно, что-то не так. Тот, кого ищет он, — Божественный Кондитер, раздающий такие упоительные яства, после которых никакая пища уже не идет в рот.

— Говорите не все хором, — наконец попросил Таор, — а то я никогда ничего не пойму.

Потом, обернувшись к самому старому из них, Таор попросил его объясниться первым.

— Моя история долгая, не знаю, с чего ее начать, — заговорил Бальтазар, озадаченно поглаживая седую бороду. — Я мог бы рассказать тебе про некую бабочку моего детства — мне показалось, что на склоне моей жизни я увидел ее в небе. Священники уничтожили ее, но, как видно, она воскресла. Можно поговорить и об Адаме, о двух Адамах, если ты понимаешь, что я имею в виду; об Адаме, который стал белым после грехопадения и кожа которого напоминает смытый пергамент, и о чернокожем Адаме до грехопадения, который весь покрыт знаками и рисунками, как иллюстрированная книга. Можно еще вспомнить греческое искусство, посвященное только богам, богиням и героям, и более человечное, бо-

лее обыденное искусство, которого все мы алчем и предтечей которого, несомненно, станет мой юный друг вавилонский художник Ассур…

Все это покажется слишком путаным тебе, кто пришел издалека со слонами, груженными сладостями. Поэтому я ограничусь главным. Знай же, что я с детства обожал рисунок, живопись и скульптуру, но всегда наталкивался на непримиримую враждебность церковников, ненавидящих всякое художественное творчество. Я не одинок. Мы побывали у Ирода Великого. Он только что потопил в крови мятеж, к которому подстрекнули священники из-за золотого орла, водруженного по приказу Ирода над главным входом в иерусалимский Храм. Орел погиб. Священники тоже. Такова жестокая логика тирании. Я всегда надеялся ее избежать. Я стал искать ответ в источнике этой драмы — в ее единственном источнике — первых строках Библии. В Библии говорится, что Господь создал человека по образу своему и подобию, и это не просто избыточное красноречие, два этих слова как бы пунктиром обозначили грозный и роковой разрыв, который мог произойти и в самом деле произошел после грехопадения. Когда Адам и Ева ослушались Его велений, их истинное богоподобие было уничто-

жено, однако они сохранили как бы его след, лицо и плоть, неизгладимый отсвет божественной яви. С тех пор проклятие тяготеет над лживым образом, сохраненным человеком после его падения, — так свергнутый царь мог бы поигрывать скипетром, ставшим смешной погремушкой. Вот этот-то образ, лишенный подобия, и осуждает Второзаконие, против него и ополчается духовенство в моей стране и в стране царя Ирода. Но я не считаю, как Ирод, что потоки крови могут разрешить все трудности. Я не настолько ослеплен любовью к искусству, чтобы отринуть веру, в которой я рожден и воспитан. Священные тексты передо мной, они вскормили меня, я не могу их предать забвению. Образ и в самом деле может быть лживым, искусство способно обманывать, и яростная война между идолопоклонниками и иконоборцами продолжается и в самом моем сердце.

Так что я прибыл в Вифлеем, разрываясь между отчаянием и надеждой.

— И что же ты нашел в Вифлееме?

— Младенца на соломе в хлеву, как мы уже тебе сказали; и мои спутники, и все прочие свидетели этой ночи, самой длинной в году, не устанут это свидетельствовать. Но это стойло в то же время

храм и плотник, отец Младенца, — патриарх, мать его — девственница, а сам Младенец — Бог, воплотившийся в самой гуще обездоленного человечества и соломенную крышу этого убогого приюта пронизывал столп света. Все это наделено для меня глубоким смыслом, это был ответ на главный вопрос моей жизни, и ответ этот состоял в небывалом сочетании несовместимых противоположностей. Кто дерзнет раньше срока проникнуть в тайны Божества, будет сокрушен могуществом его, сказал Пророк. Вот почему на горе Синай Господь говорил с Моисеем, скрытый облаком. Но теперь облако рассеялось, и мы узрели Бога, воплотившегося в Младенце. Мне довольно было взглянуть на Ассура, чтобы увидеть на лице художника зарю нового искусства. На глазах моего юного вавилонянина совершилась революция — простой жест бедной молодой матери, склонившейся над новорожденным, вдруг приобрел божественную силу, и это преобразило художника. Скромная будничная жизнь: животные, орудия труда, сеновал, но луч, падающий с неба, освещал ее светом вечности…

Ты спрашиваешь, что я нашел в Вифлееме, — я нашел примирение образа и подобия, возрождение образа через возрождение скрытого под

ним подобия.

— И что же ты сделал?

— Вместе со всеми остальными — ремесленниками, крестьянами, трактирными служанками — я преклонил колена. Но чудо в том, что коленопреклонение каждого имело свой неповторимый смысл. Я поклонялся плоти — видимой, осязаемой, воспринимаемой слухом и обонянием, плоти, преображенной духом. Потому что искусство имеет дело только с плотью. Красота воспринимается только глазом, ухом и рукой, и покуда плоть была проклята, художники были прокляты вместе с ней.

Наконец, я положил к ногам Девы сгусток мирры, который Маалек, мудрец, окруженный сонмами бабочек, вручил мне, ребенку, полвека назад, — как символ того, что плоть причастна вечности.

— И что ты собираешься делать теперь?

— Мы с Ассуром вернемся в Ниппур с радостной вестью. Мы сумеем убедить народ, и не только народ, но также священников, и прежде всего старика Шеддада, закоснелого в своих догмах: образ спасен, можно прославлять лицо и тело человека, не впадая в идолопоклонство.

Я заново построю Бальтазареум, но уже не для

того, чтобы собирать в нем остатки греко-римского прошлого. Нет, там будут представлены современные творения, которые я, подобно царю Меценату, закажу своим художникам, — это будут первые шедевры христианского искусства…

— Христианское искусство, — задумчиво повторил принц Таор. — Какое странное словосочетание и как трудно представить себе творения будущего!

— Ничего удивительного. Вообразить творение — это уже означает приступить к его созданию. Я, как и ты, ничего не пытаюсь представить, ибо череда еще не прожитых веков разверзается у моих ног бездной. Разве что я вижу первое из этих творений, первое произведение христианского искусства, оно сопряжено с нами, оно касается всех нас, присутствующих здесь…

— Каковым же будет это первое произведение христианского искусства?

— Это будет Поклонение Волхвов: трое царей в золоте и пурпуре, явившиеся со Сказочного Востока, чтобы в жалком хлеву простереться ниц у ног Младенца.

В наступившем молчании Каспар и Мельхиор мысленно следовали воображением за Бальтазаром. И грядущие века предстали перед ними

словно громадная галерея из зеркал, в которых отражались они трое, глаза каждой эпохи видели их по-разному, но всегда их можно было узнать: юноша, старик и африканский негр.

Видение рассеялось, и Таор обернулся к самому молодому из них.

— Принц Мельхиор, — сказал он. — Ты мне ближе всех по возрасту. К тому же твой дядя отнял у тебя трон, я тоже не уверен, что моя мать когда-нибудь позволит мне царствовать. Вот почему я с братским вниманием выслушаю твой рассказ о ночи в Вифлееме.

— Сначала о ночи в Иерусалиме, а потом уже о ночи в Вифлееме, — немедля возразил Мельхиор с пылкостью, свойственной его возрасту. — Ибо эти два этапа моего изгнания нераздельны.

Когда я покинул Пальмиру, мои взгляды на справедливость и власть были просты. Я считал, что существует два рода властителей — хорошие и дурные. Мой отец Теоден был образчиком доброго царя. Мой дядя Атмар, пытавшийся меня убить и завладевший моим царством, тиран. Путь, лежавший передо мной, был ясен: найти союзников, тех, кто меня поддержит, собрать армию, с мечом в руке вернуть царство моего отца и, конечно, покарать узурпатора. За одну

ночь — ту, что мы провели на пиршестве у Ирода, — все мои прекрасные планы изменились. Я советовал бы каждому наследнику трона познакомиться с жизнью Ирода. Какой пример! Какой урок! Как противоречив образ этого государя: он справедлив, миролюбив, разумен, его благословляют крестьяне, ремесленники, все простые люди его царства, он смелый строитель, тонкий дипломат, а в стенах своего дворца — деспот и преступник, палач и детоубийца, кровавый безумец. И не случай, не историческое совпадение наделило эту голову двумя ликами Януса. По воле рока всякое благодеяние, оказанное народу, оплачивается гнусностями, творимыми при дворе. Глядя на Ирода, я познал, что всякому земному царствованию неизбежно сопутствуют насилие и страх. И не только насилие и страх, но и страшная болезнь, которая зовется низость, двоедушие, предательство. Знаешь ли ты, принц Таор, что, посидев лишь однажды за пиршественным столом с Иродом и его придворными, мы, Каспар, Бальтазар и я сам, поняли, что и нас настигла эта язва.

— Вы трое заразились низостью, двоедушием, предательством? Говори же, принц Мельхиор, я хочу знать правду, и пусть твои товарищи оспо-

рят тебя, если ты лжешь!

— Это страшная тайна, и она пребудет у меня в сердце кровоточащей и гнойной раной до конца дней моих, ибо я не представляю себе, кто мог бы ее исцелить. Слушай же, и пусть мои спутники и впрямь плюнут мне в лицо, если я лгу.

Когда, прибыв ко двору Ирода, мы рассказали о звезде и о наших поисках, царь, посоветовавшись со своими священниками, объявил нам, что нам следует идти в Вифлеем, ибо пророк Михей сказал: «И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет Вождь, Который упасет народ Мой, Израиля». [11] К тем вопросам, с которыми шел за звездой каждый из нас, царь Ирод присоединял свой, мучивший его на пороге смерти, вопрос о том, кто станет его наследником. На этот вопрос, сказал он, нам тоже ответит Вифлеем. И он поручил нам, как своим полномочным представителям, узнать, кто этот наследник, воздать ему почести и потом вернуться в Иерусалим, дабы обо всем доложить ему, царю Ироду. Мы собирались честно исполнить его просьбу, чтобы никто не мог сказать, что этот тиран, которого

---

[11] Примечания: 11

Евангелие от Матфея 2:6; цит.: Книга пророка Михея 5:2.

то и дело предавали и оскорбляли и чье каждое преступление можно если не оправдать, то объяснить вероломством других, был снова обманут даже на ложе смерти тремя иноземными государями, которых он принял так гостеприимно. Но архангел Гавриил, выступавший в роли главного управителя Яслями, посоветовал нам возвращаться восвояси, минуя Иерусалим, ибо, по его уверениям, Ирод вынашивает преступные замыслы против Младенца. Мы долго спорили о том, как нам следует поступить. Я был сторонником того, чтобы исполнить данное нами обещание. Не только потому, что этого требовала честь, но и потому, что нам известно, на какие крайности способен царь Иудейский, когда его предают. Явившись в Иерусалим, мы успокоим его подозрения и предотвратим страшные несчастья. Но Каспар и Бальтазар настаивали на том, чтобы мы послушались Гавриила. «Раз уж в кои-то веки архангел указу́ет нам путь!» — восклицали они. Я был один против двоих, самый молодой, самый бедный, я уступил им. Но я сожалею об этом и знаю, что никогда себе этого не прощу. Вот каким образом, принц Таор, соприкоснувшись с властью, я запятнал себя навеки.

— Но потом ты оказался в Вифлееме. Какую

же мудрость, касающуюся вопроса о власти, ты вынес оттуда?

— Архангел Гавриил, бодрствовавший у изголовья Младенца, показал мне посредством Яслей силу слабости, неотразимую сладость отказа от насилия, закон прощения, который не отменяет закона возмездия, но бесконечно превосходит его. Но и возмездие предписывает мести не превышать нанесенного оскорбления. Это как бы переход от естественного чувства гнева к идеальному согласию. Царство Божие не будет даровано однажды и навсегда здесь или там. Ключ к нему надо ковать исподволь, а ключ этот — мы сами. Потому-то я положил к ногам Младенца золотую монету с изображением моего отца, царя Теодена. Это единственное мое сокровище, единственное доказательство того, что я законный наследник пальмирского трона. Отдав его, я отказался от земного царства, чтобы отправиться на поиски того, что нам обещает Спаситель. Я удалюсь в пустыню, взяв с собой моего верного Бахтиара. Вместе с теми, кто пожелает присоединиться к нам, мы создадим общину. Это будет первый град Божий, благоговейно ожидающий его Пришествия. Это будет общность свободных людей, подчиняющихся одному лишь закону — закону

любви…

Он повернулся к Каспару, сидевшему по левую руку от него.

— Я произнес слово «любовь». Но я понимаю, насколько более сильным и чистым даром воззвать к этому великому, таинственному чувству наделен мой брат-африканец. Не так ли, царь Каспар, ведь именно из-за любви покинул ты свою столицу и пустился в дальний путь на север?

— Да, из-за любви и ради нее, из-за несчастной любви пустился я в странствие через пустыни, — подтвердил Каспар, царь Мероэ. — Но не подумайте, что я бежал от женщины, которая меня не любит, или пытался забыть свою несчастную любовь. Впрочем, если бы это было так, Вифлеем переубедил бы меня. Чтобы понять все это, надо вернуться к… ладану, к тому, как я употребил его однажды ночью, когда мы разыграли фарс — любимая мною женщина, ее любовник и я сам. Мы наложили на себя нелепый грим, а курильницы окутывали нас ладаном. Сочетание культового благовония с унизительной сценой, без сомнения, отчасти открыло мне глаза. Я понял… Что же я понял? Что надо уезжать; тут у меня сомнений не было. Но глубокий смысл этого отъезда стал мне ясен, только когда я оказался

вблизи Младенца. И в самом деле, в моем сердце обитала великая любовь, которой были под стать курильницы и ладан, потому что любовь жаждет поклонения. Не имея возможности поклоняться, я страдал. «Сатана плачет, видя красоту мира», — сказал мне мудрец с белой лилией. На самом деле это я плакал от неудовлетворенной любви. С каждым днем я все отчетливей видел, что Бильтина — слабое, ленивое, ограниченное, лживое, пустое существо, нужно было обладать необъятным сердцем и неистощимым великодушием, чтобы очистить ее от этих жалких человеческих свойств. Правда, я никогда не обвинял ее. Я всегда знал: в том, что наша любовь оказалась такой убогой, виноват я, виновата скудость моей души. Я не умел любить за нас обоих — вот в чем все дело! Я не умел озарить лучезарным светом нежности ее холодное, сухое, расчетливое сердце. Младенец открыл мне — но я уже предчувствовал это или, во всяком случае, всей душой ждал этого урока, — что любовь-поклонение *не бывает* неразделенной, ибо сила ее излучения передается другому. Приблизившись к Яслям, я сразу же поставил ящичек с ладаном у ног Младенца — единственного, кто и в самом деле заслужил эту священную почесть. Я прекло-

нил колена. Приложил пальцы к губам и послал Младенцу воздушный поцелуй. Он улыбнулся и протянул ко мне руки. И тут я понял, что такое полное слияние любящего и предмета любви: это трепетное почитание, это ликующий гимн, это зачарованный восторг.

Но случилось нечто еще, что для меня, мероитского царя, превзошло по красоте все остальное, — этот чудесный сюрприз Святое Семейство, без сомнения, приготовило потому, что ожидало моего прихода.

— Какой же это сюрприз, царь Каспар? Я умираю от любопытства и нетерпения!

— А вот какой! Ты только что слышал, как Бальтазар сказал, что верит в существование черного Адама, Адама до грехопадения, — только у согрешившего Адама кожа стала белого цвета.

— Да, в самом деле, я слышал, как он говорил что-то о чернокожем Адаме.

— Я вообразил вначале, что Бальтазар говорит это, чтобы доставить мне удовольствие. Ведь он так добр! Но, приблизившись к Яслям, чтобы поклониться Младенцу, что же я увидел? Крохотного черного ребеночка, в мелких кудряшках, с маленьким плоским носиком — словом, ребеночка, как две капли воды похожего на ново-

рожденных моей африканской родины.

— Черный Адам, а теперь и Иисус-негритенок!

— Чему удивляться? Если Адам стал белым только после того, как согрешил, разве Иисус не должен быть чернокожим, подобно нашему пращуру до грехопадения?

— Но как же его родители, Мария и Иосиф?

— У них кожа белая, говорю прямо: они белые, как Мельхиор и Бальтазар.

— Но что же сказали остальные при виде такого чуда — черного ребенка, рожденного от белых родителей?

— Понимаешь, они ничего не сказали, а я из деликатности, чтобы не унизить их, ни словом не намекнул, что видел в Яслях черного ребенка. Вообще-то я не уверен, все ли они хорошенько рассмотрели. В хлеву ведь было довольно темно. Может, только я один и заметил, что Иисус — негритенок… Каспар умолк, растроганный воспоминанием.

— Что же ты намерен делать теперь? — спросил Таор.

— Я хочу поведать всем, кто захочет меня выслушать, чудотворный урок любви, полученный в Вифлееме.

— Ну что ж, начни с принца Таора, преподай

мне этот первый урок христианской любви.

— Младенец в Яслях стал негром, чтобы как можно лучше принять африканского волхва, царя Каспара. В одном этом больше любви, чем во всех известных мне сказках, ей посвященных. Этот удивительный пример призывает нас уподобляться тем, кого мы любим, видеть их глазами, говорить их родным языком, *почитать* их. Изначальный смысл слова «*почитать*» — это «*посмотреть дважды*». Только тогда наслаждение, радость и счастье обретают высшую силу, имя которой — любовь.

Если ты ждешь от другого, что он подарит тебе наслаждение или радость, значит ли это, что ты его любишь? Нет. Ты любишь только самого себя. Ты требуешь, чтобы он служил твоей любви к самому себе. Истинная любовь — в наслаждении, которое мы испытываем оттого, что наслаждается другой, в радости, которая рождается в нас при виде его радости, в счастье, которое нам дарит его счастье. Наслаждаться наслаждением другого, радоваться его радостью, быть счастливым его счастьем — только это и есть любовь.

— А Бильтина?

— Я уже отправил гонца в Мероэ с приказанием немедленно освободить двух моих финикийских

рабов. Пусть делают что хотят, а я буду счастлив тем счастьем, что смог подарить Бильтине.

— Царь Каспар, не стану с тобой спорить, но мне кажется, ты изрядно охладел к Бильтине с тех пор, как побывал в Вифлееме…

— Я люблю ее не меньше прежнего, но другой любовью. Эта новая любовь может озарить счастьем нас обоих, не унижая нас, как прежде: ее — оттого, что она лишена свободы, меня — оттого, что я мучаюсь ревностью. Бильтина может предпочесть мне Галеку. Тогда она покинет меня, но прежде одарит меня счастьем от сознания, что она счастлива. И я не буду чувствовать при этом ни малейшей досады, потому что отныне не буду низводить ее до положения вещи и пытаться обращаться с ней как со своей собственностью.

— Друзья, Бальтазар, Мельхиор и Каспар, — сказал Таор. — Смиренно признаюсь вам, я немногое понял из ваших слов. Искусство, политика и любовь, как вы их отныне понимаете, — все это для меня ключи без замков или, наоборот, замки без ключей. Правда, я не слишком интересуюсь всем этим. У каждого из нас свои заботы, но Младенец способен избавить нас от их бремени, безошибочно проникая в тайное тайных души каждого. Вот почему то, что он вкладывает в самое сердце од-

ному, остается недоступным для других. Я сгораю от любопытства, гадая, каким языком станет Он говорить со мной. Видите ли, я пустился в путь не ради музея, не ради народа, не ради женщины… Нет, не стану объяснять, вы решите, что я над вами смеюсь, и сами поднимете меня на смех или рассердитесь. Может, только тебе, царь Бальтазар, свойственны такая снисходительность, великодушие и широта взглядов, что ты способен понять, что судьба иной раз принимает обличье жалкого лакомства. Младенец ждет меня с ответом, предназначенным принцу Сладкоежке, который спешит к нему с Малабарского берега.

— Принц Таор, — сказал Бальтазар, — я тронут твоим доверием, твоя наивность восхищает, но и пугает меня. Когда ты говоришь: «Младенец ждет меня», в моем представлении твои слова в первую очередь означают, что ты сам младенец, который ждет. Что до другого Младенца, того, который в Яслях, — берегись, чтобы он не перестал тебя ждать. Вифлеем — всего лишь временное место сбора. Туда приходят и снова уходят. Ты явишься последним, потому что ты прибыл из самых дальних краев. Но я хотел бы быть уверен, что ты не опоздаешь.

* * *

Эти мудрые слова мудрейшего из царей благотворно подействовали на Таора. На другое утро с первыми лучами зари караван двинулся в путь к Вифлеему и прибыл бы туда уже днем, если бы его не задержало важное происшествие.

Вначале над Иудиными горами разразилась гроза, превратившая пересохшие русла рек и каменистые овраги в яростные потоки воды. Люди и слоны, быть может, примирились бы с этим освежающим душем, если бы не приходилось с мучительным трудом передвигаться по топи. Наконец внезапно выглянуло солнце, и от влажной земли стали подниматься густые испарения. Все охорашивались под полуденными лучами, как вдруг страшный рев ледяным холодом пробрал путешественников до мозга костей. Они хорошо понимали язык слонов, и у них не было сомнений: крик, который донесся до них, означал муки и смерть. Мгновение спустя замыкавший шествие слон Джина бешеным галопом проскакал вперед, подняв хобот, распустив уши веером, расшвыривая и сокрушая все на своем пути. Кто-то был убит, кто-то ранен, слон Асура опрокинут на землю со всей своей кладью. Понадобились

долгие усилия, чтобы навести какой-то порядок. После чего отрядили людей на поиски несчастного слона, следы которого было легко обнаружить на песке, поросшем кустами и колючками. Слон, охваченный внезапным безумием, успел убежать далеко, и караванщики только затемно добрались до конца его пути. Сначала они услышали мощное жужжание, идущее со дна оврага глубиной в сто локтей, словно там скрывалась дюжина ульев. Они подошли ближе. Нет, это были не пчелы, а осы, а ульем служило тело несчастного слона — он был одет черно-золотым панцирем из насекомых, который вздрагивал, как кипящее растительное масло. Караванщики сразу поняли, что произошло. Джина нес груз сахара, сахар растаял под дождем, покрыв шкуру слона липким сиропом. Оказавшийся поблизости осиный рой довершил дело. Само собой, прокусить кожу слона осы не могли, но у него были глаза, уши, кончик хобота, не говоря уже о чувствительных и нежных органах, расположенных под хвостом и поблизости от него. Люди не смели приблизиться к бедняге. Им оставалось только убедиться в том, что слон погиб, а с ним и сахар, который он нес. На другой день Таор и его свита с двумя оставшимися слонами вступили в Вифлеем.

Суматоха, которую вызвала в стране официальная перепись населения, обязавшая каждого явиться к месту своего рождения, продолжалась всего несколько дней. Разъезды кончились, и люди вернулись восвояси. Жители Вифлеема зажили привычной жизнью, однако улицы и площади деревни, как обычно после праздников или ярмарок, еще были завалены пучками соломы, конским пометом, сломанными корзинами, сгнившими фруктами и даже разбитыми повозками и больными животными. Взрослые жители, усталые и пресыщенные, отнеслись к слонам и свите Таора без большого интереса, но здесь, как и повсюду, к ним прилипла стайка маленьких оборванцев — восторженно глазея на пришельцев, они в то же время клянчили милостыню. Трактирщик, которого Таору указали трое царей, объяснил, что мужчина и женщина с ребенком, выполнив необходимые формальности, уехали из Вифлеема. Но куда? На этот вопрос трактирщик ответить не мог. Наверно, на север, в Назарет, откуда они и прибыли.

Таор посовещался с Сири. Тот мечтал об одном — поскорее вернуться в Эйлат, где на якоре стояли корабли, и там дожидаться перемены муссона, чтобы плыть в Мангалуру. Сири на-

помнил принцу, в каком плачевном состоянии находится караван: они лишились трех слонов из пяти, есть погибшие, больные, кое-кто пропал: то ли сбежал, то ли похищен, а денег и съестных припасов почти не осталось — это может подтвердить казначей Драома. Таор слушал своего раба с удивлением. Это был язык здравого смысла, он сам рассуждал так еще совсем недавно. Но в нем свершилась громадная перемена. Когда именно? Таор не мог этого сказать, но он слушал доводы Сири, как слушают детскую считалочку, допотопную и не имеющую никакого отношения к реальной жизни и насущным ее потребностям. Каким потребностям? Найти Младенца и открыть ему свою душу. Таор не мог уже больше обманывать себя: сквозь ничтожную цель его путешествия — раздобыть рецепт фисташкового рахат-лукума — просвечивал таинственный и глубокий замысел, конечно чем-то связанный с этой целью, но она была совершенно несоизмерима с ним, как роскошное горчичное дерево, в тени которого отдыхают люди, несоизмеримо с крошечным зернышком, из которого оно произросло.

Вот почему, вопреки мнению Сири, Таор уже собирался отдать приказ идти на север, по на-

правлению к Назарету, когда слова трактирной служанки на время прекратили их спор. Эта самая девушка помогала роженице и взяла на себя первые заботы о новорожденном. Так вот, она уверяла, что случайно услышала разговор мужа с женой и поняла, что семейство хочет отправиться на юг, в Египет, чтобы избежать страшной опасности, о которой его предупредили. Какая опасность может грозить безвестному плотнику, не имеющему ни богатства, ни власти и путешествующему с женой и новорожденным сыном? Таор вспомнил о царе Ироде. Сири Акбар со своей стороны чувствовал, что странствие, затеянное ради удовольствия, все больше омрачается, заволакиваясь черными тучами.

— Принц, — умолял он, — не будем терять время, двинемся на юг. Таким образом, идя по следам Святого Семейства, мы будем в то же время приближаться к Эйлату.

Таор согласился. Но отъезд он назначил на послезавтра, потому что у него созрел прекрасный, радужный план, который он задумал осуществить в Вифлееме.

— Сири, — сказал он, — среди всего того, что мне довелось узнать с тех пор, как я покинул свой дворец, есть одно обстоятельство, о котором

я никогда прежде не подозревал и которое меня глубоко удручает, — оказывается, дети голодают. Во всех городах и деревнях, через какие мы проходили, наши слоны привлекают толпы детей. Я смотрю на этих детей и вижу, что все они худые, хилые, истощенные, — один страшнее другого. У некоторых до самых костлявых коленок свисают животы, похожие на бурдюк, а мне известно, что это один из признаков голода, может быть, самый главный. И вот что я решил. Мы привезли на слонах множество лакомств, которые хотели поднести Божественному Кондитеру. Теперь я понимаю, что мы заблуждались. Спаситель вовсе не таков, как мы воображали. К тому же я вижу, как по мере наших горестные приключений тают наши запасы, а кондитеры и повара, которые их сопровождали, разбегаются. Мы устроим в расположенном над деревней кедровом лесу громадное ночное пиршество и созовем на него всех вифлеемских детей.

И Таор с таким веселым азартом стал раздавать поручения своим приближенным, что это доконало Сири, все более убеждавшегося в том, что его господин спятил. Но пирожники развели огонь и принялись за работу. Назавтра с самого утра по улочкам Вифлеема поплыли ароматы сдобы

и карамели, так что появление посланцев Таора, которые обходили дом за домом, приглашая всех детей, девочек и мальчиков, на пиршество в кедровом лесу, было хорошо подготовлено и встречено благожелательно. Впрочем, речь шла не обо всех детях. Принц долго обсуждал этот вопрос со своими управляющими. Поскольку звать родителей не хотели, нельзя было приглашать и самых маленьких детей, которые не могли ходить и есть без посторонней помощи. Правда, хозяева старались по возможности снизить возрастной ценз и в конце концов решили считать рубежом двухлетний возраст. Старшие будут помогать малышам.

Едва солнце скрылось за горизонтом, в кедровом лесу появились первые гости. Растроганный Таор заметил, что бедняки пытались как могли оказать уважение своему благодетелю. Все дети были умыты, причесаны, одеты в белое, на многих были венки из роз или лавровых листьев. Таор, которому не раз приходилось видеть, как ватаги маленьких сорванцов с криками гоняются друг за другом по улочкам и лестницам деревни, ждал, что они начнут обжираться, шуметь и орать. Не для того ли он и пригласил этих бедных малышей, чтобы они повеселились? Но на

них явно произвел впечатление кедровый лес, факелы, огромный стол, заставленный дорогой посудой, — взявшись за руки, они в сосредоточенном молчании шли до того места за столом, на которое им указывали. Потом садились на скамью, держась очень прямо и положив на край стола сжатые кулачки, но ни в коем случае не опирались на стол локтями, как им и было наказано.

Их не заставили томиться ожиданием и сразу подали молоко с медом, потому что, известное дело, дети всегда хотят пить. Но питье пробуждает аппетит, и перед изумленными глазами детей появилось желе из зизифуса, ватрушки с творогом, блинчики с ананасами, финики, фаршированные орехами, суфле из китайских орехов личи, парфе из манго, пирожные с мушмулой, крем на лидийском вине, миндальные печенья и другие чудеса, в которых индийскую национальную кухню обогащали рецепты, освоенные за время нынешнего путешествия в Идумею и Палестину.

Таор с удивлением и восторгом издали наблюдал за происходящим. Стемнело. Немногочисленные, разбросанные на большом расстоянии друг от друга смоляные факелы омывали сцену мягким, неярким золотистым светом. Во мра-

ке кедрового леса, среди могучих стволов, под навесом громадных ветвей большой, накрытый скатертью стол и дети в льняной одежде образовывали светлый островок, неосязаемый и нереальный. Было трудно решить, кто же это — орда живых ребятишек, которые явились сюда, чтобы полакомиться вволю, или вереница невинных душ, душ умерших, хрупким созвездием парящих в ночном небе? И словно потому, что это пиршество избранных должно было непременно сопровождаться горем проклятых, все услышали вдруг далекий отголосок страдальческого вопля, несущегося из невидимой деревни.

Лакомства, от которых ломился стол, были всего лишь забавной прелюдией. О них сразу же забыли, когда четверо слуг внесли на носилках громадный торт — шедевр кондитерской архитектуры. В самом деле, это была воссозданная в нуге, марципанах, карамели и засахаренных фруктах миниатюрная модель дворца в Мангалуру — здесь были бассейны из сиропа, статуи из айвы и деревья из засахаренных стебельков дягиля. Не забыты были даже пять слонов, вылепленных из миндального теста с бивнями из леденцов.

Появление торта было встречено восторжен-

ным шепотом и еще добавило торжественности празднеству. В глазах Таора это кондитерское сооружение было наделено столь богатым смыслом, что он не удержался и обратился к собравшимся с краткой речью.

— Дети мои, — начал он. — Видите этот дворец, эти сады, этих слонов? Это моя родина — я покинул ее, чтобы явиться к вам. И недаром все это воспроизведено перед вами в сладостях. Мой дворец был райским уголком, где все тешило и услаждало. Я вдруг заметил сейчас, что сказал «был», употребив прошедшее время и выдав этим свое предчувствие — нет, не того, что дворца и его садов больше нет, а того, что мне не суждено туда возвратиться. Если можно так выразиться, сама цель моего путешествия была сладкой, я хотел раздобыть рецепт фисташкового рахат-лукума. Но я все яснее вижу, как сквозь эту детскую причуду проглядывает что-то очень важное и таинственное. Покинув Малабарский берег, где кошка — это кошка, а дважды два — четыре, мне кажется, я попал в луковое царство, где каждый предмет, каждое животное, каждый человек под тем значением, какое в нем обнаруживается с виду, прячет еще иное значение, а когда ты вникаешь в него, вскрывается третье и так далее. То же,

насколько я могу судить, можно сказать теперь и обо мне самом, ибо, по-моему, наивный и глупый мальчишка, простившийся с магарани Таор Маморе, за несколько недель превратился в старика, обогатившегося множеством воспоминаний и заветов, и я думаю, на этом мои превращения еще не завершились. Так вот, о дворце из сахара… Таор прервал свою речь, чтобы взять из рук слуги золотую лопатку в форме ятагана.

— …его надо съесть, то есть разрушить.

Таор снова умолк, потому что со стороны невидимой деревни раздались пронзительные и короткие крики — словно пищали тысячи цыплят, которых режут.

— …надо разрушить, и первый удар должен нанести один из вас. Ты, например…

Он протянул золотую лопатку ребенку, который сидел ближе к нему, — пастушонку с черными кудряшками, покрывавшими его голову тугим шлемом. Мальчик поднял на Таора темные глаза, но не шелохнулся. Тогда один из местных жителей подошел к Таору и сказал ему: «Господин, ты говоришь на хинди, а эти дети понимают только арамейский язык». И он произнес несколько слов по-арамейски. Мальчик схватил золотую лопатку и решительно воткнул ее в купол из нуги, кото-

рый рухнул во внутренний дворик.

И вот тут-то появился Сири — его нельзя было узнать, он весь был в пепле и в крови, одежда разорвана. Бросившись к принцу, он за рукав оттянул его подальше от стола.

— Принц Таор, — задыхаясь, сказал он, — это проклятая страна, я всегда тебе это говорил. Час назад солдаты Ирода ворвались в деревню и убивают, убивают без всякой жалости!

— Убивают? Кого? Всех подряд?

— Нет, но, может, лучше бы уж всех подряд. Как видно, им приказали истреблять только мальчиков до двух лет.

— До двух лет? Самых крохотных, тех, кого мы не пригласили?

— Именно. Они убивают их даже на руках у матерей.

Таор в отчаянии понурил голову. Из всех испытаний, каким он до сих пор подвергся, это было самое тяжкое. Но кто нанес этот удар? Говорят, таков приказ Ирода. Таор вспомнил, как принц Мельхиор настаивал на том, чтобы исполнить обещание, данное волхвами иудейскому царю, — вернуться в Иерусалим и рассказать о том, что они узнали в Вифлееме. Обещание не было исполнено. Доверие Ирода обмануто. А ведь все

уже по опыту знали, что тиран ни перед чем не останавливается, когда считает, что над ним надругались. Все мальчики до двух лет? Сколько же их было в этом народе, столь плодовитом, несмотря на свою бедность? Младенец Иисус, который в данную минуту находился на пути в Египет, резни избежал. Слепая ярость старого деспота била мимо цели. Но сколько невинных Ирод принес в жертву!

Занятые разрушением сахарного дворца, дети не заметили прихода Сири. Они наконец ожили и, уписывая еду за обе щеки, болтали, смеялись и спорили из-за самых лакомых кусков торта. Таор и Сири наблюдали за ними, отступив в тень.

— Пусть они лакомятся, хотя их маленькие братья в эту минуту испускают последний вздох, — сказал Таор. — И так им слишком скоро придется узнать страшную новость. Если же говорить обо мне, не знаю, что уготовило мне будущее, но в одном я уверен: эта ночь преображения и избиения означает, что пришла к концу целая эпоха моей жизни — сладкие годы!

Соляной ад

В мертвенно-бледном свете зари шли путешественники через деревню, которую окутывало безмолвие, изредка нарушаемое рыданиями. Шепотом передавали, что избиение совершили киммерийские легионеры Ирода, отряд рыжих наемников, явившихся из страны туманов и снегов и говоривших между собой на никому не понятном наречии, — им деспот поручал вершить самые жестокие расправы. Они исчезли так же внезапно, как ворвались в деревню, но Таор отвернулся, чтобы не видеть, как оголодавшие собаки лижут лужу крови, застывающую на пороге какой-то хижины. Сири настоял, чтобы караван отклонился к юго-востоку, предпочитая бесплодие Иудиной пустыни и степей Мертвого моря военным гарнизонам в Хевроне и Вирсавии, через которые можно было идти напрямик. Дорога все время спускалась под гору, и порой склоны были такие крутые, что под широкими ступнями слонов осыпались громадные комья серой земли. К концу дня на пути каравана стали все чаще попадаться белые зернистые скалы. Путешественники всмотрелись в них — это бы-

ли соляные глыбы. Они вступили в жиденькие заросли белых безлистых кустиков, с виду как бы покрытых инеем. Ветви их были хрупкими, как фарфор, — здесь тоже оказалась соль. А когда наконец за спиной путешественников село солнце, они увидели вдали, в просвете между двумя вершинами, отливающую голубизной металла плоскость — Мертвое море. Караван уже располагался на ночной привал, когда внезапно, как это часто бывает в сумерках, налетел порыв ветра и на путешественников пахнуло резким запахом серы и нефти.

— В Вифлееме, — мрачно сказал Сири, — мы переступили порог Ада. И с тех пор все глубже спускаемся в царство Сатаны. [12]

Таор не был ни удивлен, ни встревожен. А если даже был, страх и тревогу превозмогало страстное любопытство. С тех пор как они покинули Вифлеем, он то и дело сопоставлял два образа, возникшие перед ним одновременно, хотя они и были противоположны друг другу: избиение младенцев и пиршество в кедровом саду. Таор был убежден, что две эти сцены таинственно сопряжены друг с другом, при всем

[12] Примечания: 12

Мертвое море расположено на 400 метров ниже уровня Средиземного моря и на 800 метров ниже уровня Иерусалима.

их контрасте дополняют друг друга и, если ему удастся наложить одну на другую, его жизнь и даже судьбу всего мира озарит яркий свет. Одних детей истребляли в то самое время, когда другие наслаждались вкусными яствами. В этом было какое-то нестерпимое противоречие и в то же время ключ ко множеству обетований. Таор понимал, что пережитое им этой ночью в Вифлееме было подготовкой к чему-то иному, было, в общем, как бы неумелой и в конечном счете сорванной репетицией другой сцены, в которой две эти крайности — дружеская трапеза и кровавое жертвоприношение — сольются воедино. Но его мысль не могла пробить смутную толщу, сквозь которую ему провиделась истина. Одно только слово всплывало в его сознании, таинственное слово, услышанное им впервые совсем недавно, но в нем для Таора было больше темной двусмысленности, нежели внятного урока, — это было слово *жертва*.

Наутро они продолжили свой спуск к морю, и чем дальше шли они среди оврагов и осыпей, тем сильнее насыщался минеральными испарениями неподвижный и жгучий воздух. Наконец у их ног во всю свою ширь распростерлось Мертвое море — с севера в него впадал Иордан, а на во-

сточном берегу очерчивались изломы горы Нево. Внимание путников привлекло странное явление — синее, со стальным отливом зеркало моря было сплошь усеяно белыми точками, словно мощный ветер взвихрил пенистую волну. Меж тем давивший свинцовой крышкой воздух был совершенно неподвижен.

Хотя они могли обойти море стороной, они не устояли перед притягательной силой, которую те, кто странствует по пустыне, всегда ощущают при виде водной глади — будь то пруд, озеро или океан. Решено было продолжать путь на восток до самого берега, а потом идти вдоль него на юг. Оказавшись на расстоянии полета стрелы от моря, люди и животные в едином порыве ринулись к воде, манившей их своей чистотой и маслянистым покоем. Самые проворные погрузились в воду одновременно со слонами. И тут же выскочили на берег, протирая глаза и с отвращением отплевываясь. Дело в том, что эта прекрасная, правда, не прозрачная, а едва просвечивающая вода химически синего цвета, прочерченная сиропообразными дорожками, не просто в избытке напитана солью, настолько, что ею, а не песком, устланы берега и дно, — она перенасыщена бромом, магнезией, нефтью, воистину колдовское

варево: оно отравляет рот, обжигает глаза, вскрывает свежие рубцы и покрывает все тело вязким налетом, который, высыхая под лучами солнца, превращается в кристаллический панцирь. Таор, подошедший к берегу одним из последних, захотел сам это испытать. Он осторожно сел в теплую жидкость и, словно устроясь в невидимом кресле, поплыл скорее как лодка, чем как пловец, орудуя руками как веслами. Но когда он вылез из воды, то с изумлением обнаружил, что руки его все в крови. «Должно быть, ты недавно поранил руки и забыл об этом, а раны плохо зарубцевались, — объяснил Сири. — Похоже, эта вода алчет крови, и, когда чувствует, что она близко и отделена еще не уплотнившейся пленкой кожи, она накидывается на нее, и кровь бьет струёй». Все это Таор и сам понял и почувствовал с первого мгновения. Странно было другое — он совершенно не помнил, чтобы на его ладонях был хоть какой-нибудь свежий рубец. Нет, что бы там ни говорил Сири, он ошибался: ладони Таора сами стали внезапно кровоточить, словно повинуясь таинственному приказу.

Зато Таор без труда объяснил загадку белых барашков на этом жидком, тяжелом и ленивом полотне, совершенно неспособном вспениваться

и бурлить. На самом деле это были огромные, выросшие на дне соляные грибы, шапочки которых, словно рифы, торчали из воды. Каждый раз, когда волна накрывала их, она оставляла на них новый пласт соли.

Таор и его спутники разбили лагерь на берегу, усеянном побелевшими обломками — ни дать ни взять скелеты доисторических животных. Похоже было, что одни только слоны получают удовольствие от необычного моря, которое пророк назвал «великим озером Божьего гнева». Погрузившись до самых ушей в едкую жидкость, они поливали друг друга из хоботов. Уже темнело, когда путникам пришлось стать свидетелями маленькой драмы, которая произвела на них впечатление еще более тягостное, чем все остальное. В их сторону с другого берега над морем, приобретшим в сумерках свинцовый оттенок, летела черная птица. Это был пастушок, перелетная птица, которая любит болотистые места. Словно нарисованная тушью на фосфоресцирующем небе, птица летела все с большим трудом и быстро теряла высоту. Ей надо было преодолеть не такое уж далекое расстояние, но тлетворные испарения, поднимавшиеся от воды, убивали все живое. Вдруг, словно в последнем отчаянном по-

рыве, птица учащенно забила крыльями. Но хотя крылья хлопали все чаще, пастушок неподвижно завис в пространстве. А потом, будто сраженный невидимой стрелой, рухнул в воду, без единого звука, без единого всплеска сомкнувшуюся над ним.

— Проклятая, проклятая, проклятая страна! — бормотал Сири, закрываясь в своей палатке. — Мы спустились более чем на восемьсот локтей ниже уровня моря, и все нам говорит о том, что мы в царстве демонов. Хотел бы я знать, удастся ли нам когда-нибудь выбраться отсюда!

Несчастье, обрушившееся на них на другой день, казалось, подтвердило их самые мрачные предчувствия. Вначале путешественники обнаружили пропажу двух последних слонов. Но вскоре прервали свои поиски; сомнений не было: слоны находились здесь рядом, на их глазах, просто к другим соляным глыбам, загромождавшим прибрежные воды, добавились два громадных гриба в форме слонов. Поливая друг друга из хоботов, слоны одевались все более толстым панцирем соли и еще больше уплотнили его, продолжая омовение ночью. Да, это были слоны, обездвиженные, задохнувшиеся, раздавленные соляной массой, но зато на многие сотни, на мно-

гие тысячи лет защищенные от разрушительного действия времени.

Поскольку это были два последних слона, катастрофа была непоправима, всеобъемлюща. До сих пор караванщики навьючивали оставшихся животных кладью, которую прежде несли потерянные слоны. На этот раз все было кончено. Громадные запасы съестного, оружия и товаров пришлось бросить, потому что некому было их нести. Но еще страшнее было другое: те из караванщиков, кто существовал только при слонах, более не чувствовали себя связанными с экспедицией, да и все остальные поняли вдруг, что толстокожие были не просто вьючными животными, а символом родной страны, воплощением их мужества и верности принцу. Еще накануне на берегу Мертвого моря раскинул свои палатки караван принца Таора Мангалурского. Утром эта горстка потерпевших крушение двинулась к югу в смутной надежде спастись.

Путникам понадобилось три дня, чтобы добраться до южной оконечности моря. В последний день их путь пролегал у подножия гигантских скал, прорезанных пещерами, в большей части которых, по-видимому, кто-то жил. К пещерам и в самом деле вели тропинки, проложенные

человеком, ступени, прорубленные в отверделой земле, и даже грубые приставные лесенки или мостки из кое-как обтесанных стволов. Но при отсутствии дождей и растительности эти сооружения могли веками оставаться невредимыми, поэтому невозможно было определить, покинули ли их обитатели, а если покинули, то когда.

Постепенно берега моря начали сближаться, и путники поняли, что недалек час, когда они сойдутся, как вдруг их глазам предстало величавое и фантастическое в своей печали зрелище. Да, это, безусловно, был город, некогда, наверно, великолепный, но то, что от него осталось, нельзя было назвать даже руинами. Слово «руины» наводит на мысль о медленном и незлобивом действии времени, о чем-то, что долго разъедали дожди, сжигало солнце, о камне, который расслаивают сорняки и лишайники. Здесь ничего подобного не было. Этот город, без сомнения, рухнул мгновенно, в расцвете своих сил и молодости. Дворцы, террасы, портики, громадная площадь и, посередине ее, окруженный статуями фонтан, театры, крытые рынки, аркады, храмы — все мягким воском растаяло в огне гнева Божия. Камень поблескивал черным антрацитовым блеском, поверхность его каза-

лась остекленевшей, углы были сглажены, ребра оплавлены, словно от пламени тысячи солнц. Ни звука, ни движения — ничто не нарушало покоя этого громадного некрополя, его можно было бы назвать необитаемым, если бы его не населяли соответствовавшие его облику тени — силуэты мужчин, женщин, детей и даже ослов и собак, которые впечатало в стены и дороги дохнувшее на них светопреставление.

— Ни одного часа, ни одной минуты мы не останемся здесь, — простонал Сири. — Таор, мой принц, мой господин, мой друг, ты видишь: мы достигли последнего круга Ада. Но разве мы мертвы и прокляты, чтобы оставаться здесь? Нет, мы живы, мы невинны! Так уйдем же! Бежим отсюда прочь! Наши корабли ждут нас в Эйлате.

Таор не слушал этих молений, его внимание было поглощено другими голосами, которые невероятно, но властно звучали в его ушах со времени Вифлеема. В его глазах собственная его жизнь все больше превращалась в многоярусное строение, где каждый следующий ярус был неотделим от предыдущего, причем в каждом из них он не мог узнать самого себя, и в то же время каждый поражал неожиданной новизной, терпкой и в то же время возвышенной. Таор покорно при-

сутствовал при том, как его жизнь превращается в судьбу. Сейчас он находился в аду, но разве не началось все с фисташек? Куда же он идет? И чем все это кончится?

Они подошли к храму, от него сохранились только обломки колонн, лестница, а чуть поодаль большой каменный куб, наверно бывший когда-то алтарем. Таор поднялся по ступеням паперти, таким истертым, словно они исхожены бесчисленным множеством ангелов и демонов, потом обернулся к своим товарищам. Он был полон любви и благодарности к землякам, преданно сопровождавшим его в предприятии, в котором они ровным счетом ничего не понимали, но теперь для них пришла пора знать, решать и больше не быть детьми, не ведающими ответственности.

— Вы свободны, — сказал он им. — Я, Таор, принц Мангалурский, освобождаю вас от всех верноподданнических обязательств. Рабы, вы отпущены на свободу. Те, кто связан со мной словом или договором, вы мне ничего не должны. Верные мои друзья, заклинаю вас больше не жертвовать собой ради меня, если никакая внутренняя потребность не побуждает вас следовать за мной. Мы пустились в путешествие, которое в силу своей легкомысленной цели обещало

быть приятным, предсказуемым, ограниченным задуманными рамками. Но началось ли вообще когда-нибудь это путешествие? Порой я в этом сомневаюсь. Так или иначе, оно закончилось той ночью в Вифлееме, когда ребятишки сидели за пиршественным столом, а в это время их братья умирали. С этой минуты началось другое путешествие — мое личное, не знаю, куда оно меня приведет, совершу ли я его один или с кем-то из друзей, решать вам самим. Я вас не гоню, но и не держу. Вы свободны!

И, не прибавив ни слова, Таор смешался с остальными. Они долго брели по улочкам, петлявшим среди провалов. Наконец, когда начало темнеть, они сгрудились в пространстве, которое когда-то, наверно, было внутренним двориком виллы, а теперь походило на подземный застенок. Громкий шорох где-то внизу уведомил их, что своим приходом они растревожили семейство крыс или змеиное гнездо.

Из событий, которые за этим последовали, Таор сделал вывод, что проспал несколько часов. В самом деле, он очнулся, услышав на улочке гулкие шаги, сопровождаемые стуком посоха. И тут же по стенам заплясали свет и тени, несомненно отбрасываемые фонарем, кто-то держал

его на вытянутой руке. Потом шум удалился, блики исчезли. Но сон не возвращался. Немного погодя шум и блики появились снова, словно какой-то страж обходил дозором окрестности. На сей раз человек вошел во двор. Свет поднятого им вверх фонаря ослепил Таора. Человек был не один. За ним виднелся чей-то силуэт. Человек сделал несколько шагов и склонился над Таором. Он был высокого роста, в одежде черного цвета, составлявшей резкий контраст с мертвенной бледностью его лица. Товарищ ждал его с тяжелой палкой в руке. Человек распрямился, отступил на шаг и обвел взглядом разоренный двор. Потом лицо его прояснилось, и он звонко рассмеялся:

— Благородные чужеземцы, — произнес он. — Добро пожаловать в Содом!

И расхохотался еще громче. Потом повернулся и исчез так же неожиданно, как появился. Однако в пляшущем свете фонаря Таор рассмотрел его спутника и, пораженный, ужаснулся. Принцу хотелось бы сказать, что этот человек совершенно обнажен, но дело было в другом. Человек был красного, кроваво-красного цвета, и на всем его теле явственно просвечивали мускулы, нервы и сосуды, в которых трепетала жизнь. Нет, человек не был наг, с него живьем содрали кожу, а он

продолжал жить и с дубинкой в руке обходил погруженный в темноту Содом.

Последующие часы Таор провел в полудреме, в которой перемешались и сон, и явь, и какие-то, безусловно, бредовые видения. И однако шум, доносившийся из города, — стук колес, цоканье копыт по мостовой, оклики, брань, глухой гул толпы и уличного движения — свидетельствовал о том, что Содом обитаем и живет тайной ночной жизнью. Эта жизнь заглохла, а потом и совсем вымерла с рассветом. И тогда, оглядевшись, Таор увидел, что с ним рядом остался лишь один человек. Конечно, Сири? Но Таор не мог быть в этом уверен, потому что человек спал, с головой накрывшись одеялом. Принц тронул его за плечо, потом потряс и окликнул. Спящий вдруг вынырнул из-под одеяла, обернув к Таору взлохмаченную голову. Нет, это был не Сири, а Драома, жалкий человек, на которого Таор никогда не обращал внимания, который существовал в тени, отбрасываемой Сири, добросовестно исполняя щекотливые и важные обязанности казначея экспедиции.

— Что ты здесь делаешь? Где остальные? — жадно расспрашивал принц.

— Ты вернул им свободу, — сказал Драома. —

Они ушли. Почти все отправились с Сири, в сторону Эйлата.

— А что сказал Сири, как объяснил свой отъезд?

— Он сказал, что это проклятые места, но что-то необъяснимым образом удерживает тебя здесь.

— Он так сказал? — удивился Таор. — Он прав, я не могу решиться покинуть эту страну, не найдя того, за чем, сам не подозревая, сюда явился. Но почему Сири не поговорил со мной перед уходом?

— Он сказал, что ему это слишком тяжело. Он сказал, что своей короткой речью ты поставил нас перед дьявольским выбором: по-воровски уйти или остаться.

— И он ушел по-воровски. Но я ему прощаю. А почему остался ты? Неужели ты один захотел сохранить верность своему принцу?

— Нет, принц, нет, — честно признался Драома. — Я бы тоже с радостью ушел. Но я отвечаю за казну нашей экспедиции, и ты должен выслушать мой отчет. Я не могу явиться в Мангалуру без твоей печати. Тем более что мы потратили много денег.

— Стало быть, как только я подпишу твои счета, ты тоже сбежишь?

— Да, принц, — без стыда ответил Драома. — Я всего лишь скромный счетовод. А моя жена и дети…

— Хорошо, хорошо, — прервал его Таор. — Я поставлю свою печать. Но уйдем из этой дыры.

Под косыми лучами утреннего солнца город обретал очертания, утраченные им после гибели, но оставался нереальным, призрачным, фантасмагоричным. Пространство заполняли не башни, капители и крыши, а громадные черные тени, отброшенные на порозовевшие в лучах восхода плиты. Таор попирал эти тени, окрыленный чувством счастья, причину которого не пытался себе объяснить. Он потерял все — свои лакомства, своих слонов, своих спутников, — он не Знал, куда он идет; бедность и готовность ко всему, что может с ним случиться, пьянили его каким-то звенящим хмелем.

Смутный гул, блеяние верблюдов, глухие удары, проклятья и стоны направили его стопы в южную часть города. Таор с Драомой вышли к широкой площадке, где в дорогу собирался караван. Вьючные верблюды, к нижней челюсти которых была прикреплена грубая веревка, обводили все вокруг горделиво-печальным взглядом. Передние ноги у них были связаны, поэтому

передвигались они мелкими торопливыми шажками. Путы с них снимали для того лишь, чтобы заставить их подогнуть колени, верблюды падали, подаваясь сначала вперед, потом назад и при этом раздраженно ворча. Затем их навьючивали солью — единственным товаром, который вез караван, — в виде четырехугольных полупрозрачных пластин, по четыре на каждого верблюда, или в виде конусов, обернутых в циновки из пальмовых листьев. Площадка выходила прямо в пустыню, и Таор невольно подумал о порте, Эйлате или Мангалуру, где корабли торопливо готовятся к дальнему плаванию. Ибо и впрямь ничто так не напоминает монотонное, равномерное плавание по спокойному морю, как поступь каравана среди золотистых дюн, волнами уходящих к самому горизонту.

Таор залюбовался движением молодого погонщика, который искусно сплетал шнуровку, предназначенную для того, чтобы груз не сползал на спину животного, когда полдюжины солдат, окликнув погонщика, окружили его плотным кольцом. Произошла перебранка, смысл ее ускользнул от Таора, но солдаты схватили погонщика и потащили за собой. Грузный мужчина, опоясанный счетными шариками, какими обыч-

но пользуются торговцы, внимательно наблюдал за происходящим — казалось, он ищет глазами свидетеля, чтобы излить ему свое негодование, которое теперь было удовлетворено. Заметив вдруг Таора, он ему объяснил:

— Этот прохвост, задолжавший мне деньги, собирался улизнуть с караваном. Но его вовремя схватили!

— А куда его ведут? — спросил Таор.

— В суд, конечно!

— А что будет потом?

— Потом? — рассердился торговец. — Потом его обяжут уплатить мне долг, а так как уплатить он не сможет, что ж, его отправят в соляные копи!

И, пожав плечами в негодовании на столь невежественного собеседника, торговец побежал догонять солдат.

Соль, соль, всегда и всюду соль! Со времени Вифлеема Таор только это слово и слышал, навязчивое, сущностное слово, составленное из четырех букв, как хлеб, вино, рожь, вода — основная пища, насыщенная символами и даже определяющая облик цивилизаций. Но если существуют цивилизации зерновых культур, можно ли представить себе цивилизацию соли? Разве может породить она что-нибудь живое и

доброе, разве не препятствует этому горечь и едкость, заключенные в ее кристалле? Шагая вслед за пленником и солдатами, Таор обратился к Драоме:

— Скажи мне, казначей-счетовод, что такое, по-твоему, соль?

— Соль, принц, — это огромное богатство! Этот кристалл драгоценен подобно драгоценным камням и металлам. Во многих областях он служит разменной монетой, на этой монете нет никаких изображений, и поэтому она неподвластна государям и их мошенничествам. А стало быть, эта монета нетленна, но хождение она может иметь только в тех краях, где сухой климат, потому что при первых же каплях дождя она растворяется и исчезает.

— Неподвластная человеку, но зависящая от дождя!

Таор восхищался гением этого кристалла, который продолжал обрастать противоречивыми свойствами и способен был пробудить остроумие и красноречие в простаке счетоводе.

Солдаты и их пленник, за которыми неотступно следовал толстяк торговец, скрылись за развалинами стены. Таор и его спутник обнаружили там узкую лестницу и ступили на нее в свой черед.

Наклонный проход привел их затем в красивый просторный подвал, над ним в былые времена, судя по стенам с контрфорсами и стрельчатому потолку, должно быть, возвышалось величавое здание. Молчаливая толпа бродила по подвалу, ничем, если не считать как раз молчания, не выказывая, что она знает: в углублении, имеющем форму апсиды, заседает суд. Таор с жадным любопытством разглядывал мужчин, женщин и детей, всех этих жителей Содома, обитателей проклятого города, существование которых было тайной для их соседей (впрочем, может, соседи по молчаливому уговору делали вид, что о нем не знают), — остатки целого народа, уничтоженного небесным пламенем тысячу лет назад. «Надо полагать, это племя неистребимо, — подумал Таор, — раз сам Господь не сумел его извести!» Он искал в их лицах, в их фигурах каких-то характерных, присущих именно содомитам черт. Из-за худобы и оттого, что они казались очень сильными, они производили впечатление людей высоких, хотя на самом деле были не выше среднего роста. Но даже в детях и женщинах не было ни свежести, ни нежности — тела их были поджарыми и легкими, а на лицах — выражение настороженности, в любую минуту готовой сме-

ниться сарказмом, что и притягивало, и пугало одновременно. «Сатанинская красота», — подумал Таор, потому что ни на минуту не забывал, что речь идет об осужденном и ненавидимом за свои нравы меньшинстве, но манеры этих людей и все их поведение, лишенное вызова, но не лишенное гордости, свидетельствовали о том, что они не намерены отрекаться от своего племени.

Таор и Драома подошли ближе к судьям, перед которыми должен был предстать погонщик. К солдатам и к истцу присоединились несколько любопытных и женщина с искаженным горем лицом, прижимавшая к себе четырех маленьких ребятишек. Люди показывали друг другу на трех мужчин в красной кожаной одежде, которые не спускали глаз с устрашающего вида орудий; добродушные лица этой троицы никого не вводили в заблуждение, столь несомненно было их палаческое ремесло.

Суд был скорым, судья и его помощники едва слушали ответы и возражения обвиняемого.

— Если вы меня арестуете, я не смогу работать, а тогда откуда же мне взять денег, чтобы расплатиться с долгом? — твердил он.

— Тебя устроят на другую работу, — с иронией заметил истец.

Каким будет приговор, сомнений не было, женщина и дети стали кричать громче. Тогда Таор подошел к судьям и попросил, чтобы ему разрешили сказать несколько слов.

— У этого человека жена и четверо малолетних детей, приговор отзовется на них тяжелым и несправедливым ударом. Не позволят ли судьи и истец богатому путешественнику, который проездом оказался в Содоме, заплатить долг обвиняемого?

Предложение было настолько необычным, что вокруг судей начала собираться толпа. Председательствующий знаком подозвал торговца, и они несколько мгновений шепотом совещались. Потом судья стукнул ладонью по пюпитру, требуя тишины. И объявил, что предложение чужеземца принято, при условии, что требуемая сумма будет уплачена немедля и в надежной монете.

— О какой сумме идет речь? — спросил Таор.

По толпе пробежал гул изумления и восторга — стало быть, щедрый чужеземец даже не знал, какую сумму взялся уплатить.

Ответил Таору торговец:

— Не стану считать проценты за просрочку платежа, а также судебные издержки, которые мне пришлось взять на себя. Округлю сумму до

ее нижнего предела. Короче, я готов согласиться, чтобы мне уплатили тридцать три таланта.

Тридцать три таланта? Таор понятия не имел, велика ли ценность одного таланта, как, впрочем, и любой другой денежной единицы, но цифра тридцать три показалась ему скромной, а стало быть, приемлемой, так что он со спокойной душой, повернувшись к Драоме, приказал: «Уплати!» Теперь все с любопытством уставились на казначея. Неужели он и впрямь магическим жестом освободит несостоятельного должника? Кошелек, который Драома извлек из своего плаща, показался всем до смешного тощим, но еще большее разочарование вызвали его слова.

— Принц Таор, — сказал он, — я не успел отчитаться перед тобой в наших расходах и потерях. С тех пор как мы отплыли из Мангалуру, им не было числа. Так, например, когда мы отдали Боди на съедение хищным птицам…

— Уволь меня от подробных описаний нашего путешествия, — перебил его Таор, — и скажи напрямик, что у тебя осталось?

— Два таланта, двадцать мин, семь драхм, пять серебряных сиклей и четыре обола, — без запинки перечислил казначей.

Толпа разразилась громовым хохотом. Выхо-

дит, этот уверенный в себе путешественник с замашками богатого вельможи на самом деле самозванец! Таор покраснел от гнева не столько на гикающую толпу, сколько на самого себя. Как! Меньше часа тому назад он радовался лишениям, как радуются нежданно подаренному судьбой возврату молодости, он опьянялся сознанием собственной бедности и независимости, как неведомым вином, которого впервые хлебнул, но стоило ему подвергнуться испытанию, встретив этого задавленного долгом человека, эту обремененную детьми женщину, он повел себя как купающийся в золоте принц, которому довольно сделать знак своему министру финансов, и все препятствия устранены. Таор поднял руку, чтобы еще раз попросить слова.

— Господа судьи, — сказал он. — Я дважды провинился перед вами. Во-первых, я не представился. Меня зовут Таор Малек, принц Мангалурский, я сын магараджи Таор Маляра и магарани Таор Маморе. Сценка, которая только что разыгралась на ваших глазах, — сценка, согласен, довольно комичная — объясняется просто тем, что я ни разу в жизни не держал в руках и даже не видел ни одной монеты. Талант, мина, драхма, сикль и обол — это все слова языка, на котором

я не говорю и которого не понимаю. Стало быть, сумму, потребную для спасения этого человека, составляют тридцать три таланта? Мне и в голову не пришло, что у меня может их не быть! Но выходит, у меня их нет. Что ж! Я могу вам предложить нечто иное. Я молод, я здоров. Может, даже слишком здоров, если судить по моему округлому животу. Но главное, у меня нет ни жены, ни детей. Господа судьи и ты, истец, я торжественно прошу вас позволить мне занять место осужденного в вашей тюрьме. Я буду работать до тех пор, пока не выплачу сумму в тридцать три таланта.

Смех в толпе заглох. Жертва была так грандиозна, что все почтительно умолкли.

— Принц Таор, — заговорил тогда один из судей. — Только что ты не мог представить себе, сколь велика сумма, необходимая для выкупа должника. Теперь ты нам сделал предложение куда более серьезное, ибо ты выразил желание заплатить чужой долг своим телом и своей жизнью. Хорошо ли ты подумал? Не поступаешь ли ты так в порыве досады, потому что над тобой посмеялись?

— Господин судья, душа человека потемки, и я не могу поручиться за то, что таится в глубине моего собственного сердца. В заключении у меня

будет время разобраться, что побудило меня так поступить. Тебе достаточно знать, что я принял решение сознательно, что оно твердо и необратимо. Я еще раз предлагаю занять место этого человека в неволе, чтобы отработать его долг.

— Что ж, будь по-твоему, — сказал судья. — Наденьте на него кандалы.

Палачи со своими орудиями тотчас присели у ног Таора. Драома, все еще державший в руках кошелек, испуганно озирался по сторонам.

— Друг мой, — сказал Таор, — оставь эти деньги себе, они пригодятся тебе в пути. Ступай! Возвращайся в Мангалуру, где тебя ждет твоя семья. Я прошу только о двух вещах: во-первых, не рассказывай никому на родине о том, что ты видел и какая участь меня ждет.

— Хорошо, принц Таор. Обещаю. Я буду хранить молчание. А вторая просьба?

— Поцелуй меня, потому что я не знаю, когда мне придется свидеться с кем-нибудь из земляков.

Они обнялись, и счетовод смешался с толпой, тщетно пытаясь скрыть свою поспешность. Палачи продолжали копошиться у ног Таора. Освобожденного должника осыпало ласками его семейство. Когда Таора уводили, он в последний

раз обернулся к судье.

— Я знаю, что должен работать, чтобы выплатить тридцать три таланта, — сказал он. — Но сколько времени понадобится узнику, чтобы отработать эту сумму?

Казалось, вопрос удивил судью, который уже углубился в папку с очередным делом.

— Сколько времени понадобится каторжнику в соляных копях, чтобы отработать эту сумму? Да ведь это же ясно: тридцать три года! — И, пожав плечами, он отвернулся.

Тридцать три года! Когда был назван этот срок, практически бесконечный, у Таора помутилось в глазах. Он покачнулся, и его замертво унесли в соляные подземелья.

* * *

Режим первых дней пребывания в соляных копях был одинаков для всех узников. Перемена условий жизни и среды приводила к такому потрясению даже самые крепкие натуры, что надо было прежде всего предупредить возможное самоубийство. Поэтому закованного в кандалы узника помещали в одиночную камеру. В случае необходимости его насильно кормили через трубку. Многовековой опыт научил тюремщиков,

что акклиматизация проходит тем успешнее, чем она более радикальна. После того как миновал первый кризис отчаяния — а он мог тянуться от шести дней до шести месяцев, — соледобытчик узнавал, что дневной свет он увидит не раньше чем через пять лет. До тех пор ему предстояло встречать только тех, кто работал в копях в таких же условиях, что и он сам, а пища его отныне была всегда одна и та же: сушеная рыба и горьковато-соленая вода. Понятно, что именно в этом последнем отношении Таору, принцу Сладкоежке, особенно мучительно давалась перемена вкусов и привычек. С первого же дня его глотку воспламенила мучительная жажда, но все же эта жажда гнездилась пока еще только в глотке, это была жажда поверхностная, локализованная. Мало-помалу она исчезла, но ее сменила другая жажда, пожалуй менее жгучая, но зато глубинная, сущностная. Это уже не рот, не глотка взывали о пресной воде, это весь организм, каждая его клеточка, страдавшие от полного обезвоживания, сливались воедино в общем безмолвном вопле. Таор знал, что на утоление жажды, голос которой он теперь ощущал в себе, уйдет весь остаток его дней, если он выйдет на свободу живым.

Соляные копи представляли собой громадную

сеть подземных галерей, залов и карьеров, вырубленных в сплошных залежах соли, — воистину погребенный, дважды погребенный город, ведь он находился под жилыми домами и общественными зданиями Содома, также захороненными. Добыча соли делилась на три этапа. И соответственно рабочие были солекопами, солеломами и солетесами. Последние распиливали на беловатые пластины глыбы, вырубленные солеломами в соляных недрах. А солекопы рыли землю и исследовали почву — работа эта длилась веками, и конца ей не предвиделось. Залежи соли были такими твердыми, что крепления были не нужны, и однако солекопов подстерегали неожиданности и опасности. Иногда в толще стен или потолка появлялся вдруг странный темный призрак фантастических очертаний, громадный спрут, больная лошадь с вздувшимися конечностями, чудовищная птица. Это был карман рыхлой глины, замкнутый в слое соли, словно гигантский пузырь в прозрачности кристалла. Появление такого «призрака» побуждало солекопов обходить препятствие, размеры которого они не могли определить. Поэтому галереи были населены такими вот неподвижными чудищами, притаившимися в брюхе горы, и порой одно из

них, наскучив маневрами и булавочными уколами муравьишек-людей, со страшным грохотом взрывалось, погребая под тоннами жидкой глины целую копь.

Копей было всего девяносто семь, они снабжали товаром два каравана, отправлявшиеся из Содома каждую неделю. Кроме соляных пластин их груз составлял еще изрядное количество морской соли, которую собирали в водоемах, высушенных солнцем, и формовали в деревянных конусах. Поскольку эти работы велись на свежем воздухе, соледобытчики, работавшие под землей, мечтали о них, видя в них частичное возвращение к нормальной жизни. Некоторые подхалимы добивались того, что их там использовали. Но копи неохотно выпускают из своих лап однажды попавшую в них добычу. Жаркое солнце, от которого отвыкли эти люди, сжигало их кожу и глаза, и им приходилось возвращаться в сумрак подземелий с неизлечимыми заболеваниями кожи и глаз. Если человек приспособился к своему несчастью настолько, что изменить его положение к лучшему невозможно, значит, он достиг последней степени падения. Подвергаясь постоянному воздействию влажного воздуха, пропитанного парами натрия, кожа некоторых соледобытчиков

истончалась, становясь совершенно прозрачной, похожей на пленку, затянувшую совсем еще свежую рану, и начинало казаться, что с этих людей содрали кожу. Их называли красными людьми. Одного из таких людей и увидел Таор первой ночью, проведенной им в Содоме. Как правило, эти люди ходили голыми, потому что не выносили прикосновения одежды, в особенности той, которую носили в копях и которая становилась шершавой от соли, а если они отваживались выйти на улицу, то, из боязни солнца, только ночью. Индийское происхождение уберегло Таора от участи превратиться в сплошную рану, но губы его стали похожими на пергамент, рот иссох, из больных глаз по щекам непрерывно струился гной. Живот его впал, а тело стало телом маленького согбенного старичка.

Долгое время Таор видел только гигантское подземелье, похожее на обширный храм, где он обтачивал и обстругивал соляные пласты, видел сырые проходы, которые вели из одного конца разработок в другой, и еще громадную гостиную из соли, где он ел и спал с пятью десятками других рабочих и где узники на досуге вырезали в соляных пластах столы, стулья, шкафы, ниши и даже, ради украшения, люстры, которые не могли

гореть, и статуи.

После периода полного заточения Таору, уже потерявшему счет времени, разрешили выйти на дневной свет. Вначале ему пришлось принять участие в лове морской рыбы — она составляла единственную пищу узников. Это был довольно странный лов, ведь море не терпело никакой жизни — ни растительной, ни животной. Речь шла о том, чтобы добраться до противоположной оконечности моря, туда, где в него впадает Иордан, — идти до этого места приходилось три дня, обратный путь с корзинами, полными рыбы, занимал четыре.

Вид Иордана, который струился к Мертвому морю и потом исчезал, поглощенный его тяжелыми водами, произвел глубокое впечатление на Таора — он усмотрел в этом образ агонии и смерти. Вот бежит река, веселая, поющая, кишащая рыбой, над ней нависли ветви бальзамических тополей и тамариндовых деревьев, где щебечут птицы. С юношеской отвагой устремляет она в грядущее свои лепечущие волны, но участь ее ужасна. Она рушится в жерло желтой земли, которая отравляет реку, убивая ее порыв. Отныне это жирный непрозрачный поток, что медленно катит к роковому исходу. Растения, еще упорно

цепляющиеся за берега реки, тянут к небу скрюченные ветви, уже покрытые солью и песком. И в конце концов Мертвое море поглощает реку, уже больную, и переваривает ее всю до конца, ни капли не упустив из своей пасти, ибо на юге море замкнуто. А чуть поодаль разыгрывается другая драма, о ней оповещает могучий полет кружащих над водой орлов-рыбаков. Рыбы, обитающие в Иордане, — в основном это лещи, усачи и сомы, — задушенные химикалиями морской воды, тысячами всплывают вверх брюхом, правда, всплывают ненадолго, потому что вскоре, покрывшись солью, камнем идут на дно. Этих-то дохлых, окаменелых рыб и пытались выловить сетью каторжники, которым иногда приходилось оспаривать свою добычу у орлов, стервеневших от этого вторжения. Странный лов, погребальный и призрачный, в духе самих этих проклятых мест. И все же при всей диковинности этого лова ему было далеко до единственной в своем роде охоты с гарпуном, в которой Таору также пришлось принимать участие. Лодка медленно доплывала до середины моря, где оно, как известно, достигает наибольшей глубины, а тем временем на носу опытный ловец, перегнувшись через борт, зорко всматривался в сиропообразную бездну; под ру-

кой у него лежал привязанный веревкой гарпун. Кого же подстерегал ловец? Злобное черное чудище, оно не водится ни в одном другом море и зовется *ацефалотавр*, иначе говоря, безголовый бык. В самой гуще металлической жидкости появлялась вдруг его вертлявая тень, которая росла на глазах, нацеливаясь на лодку. И вот тут-то важно было загарпунить его и втащить на борт. На самом деле чудище было не чем иным, как сгустком смолы, извергаемой пучиной и под напором плотной воды быстро поднимающейся со дна на поверхность. Смоляные чудища обладали неприятным свойством прилипать к судну, цепляясь за него тысячью тягучих нитей. Чтобы отклеить их, содомиты применяли отвратительную смесь из мужской мочи и менструальной крови. Смола эта считалась очень ценной, ее использовали не только для конопачения судов, но и для приготовления лекарств — вот почему за нее давали много денег. [13]

Зато совершенно бесполезным и бескорыстным был, судя по всему, сбор содомских яблок на просоленных отложениях гипса и мергеля, которые оставляло за собой после каждого своего

---

[13] Примечания: 13
Иосиф Флавий. Иудейская война. IV, 8, 4.

наступления смоляное озеро. В этих отравленных полях растет колючий кустарник с остроконечными ломкими листьями, и на нем зреют плоды, напоминающие дикий лимон. Вид у этого фрукта очень соблазнительный, но это жестокая ловушка, потому что, созрев, он наливается едким соком, обжигающим рот, а высохнув, разбрасывает похожую на пепел серую пыльцу, разъедающую глаза и ноздри. Таор так никогда и не узнал, для чего его заставляли собирать содомские яблоки.

Во время этих вылазок Таор пытался угадать, где же тот берег, на котором, спускаясь из Вифлеема, он провел ночь со своим караваном. Но, казалось, все приметы, сохраненные его памятью, стерлись. Он не мог найти даже одетых солью слонов, которые не должны были бы исчезнуть. Казалось, все его прошлое уничтожено. И однако оно в последний раз предстало перед ним в самом неожиданном и комичном облике.

Речь шла о шарообразном, словно бы раздувшемся от собственного величия человечке, который однажды появился в шестом руднике, там, где работал Таор. Звали его Клеофант, он был родом из Антиохии Писидийской, города в Галатийской Фригии, — не путать, предостере-

гал он всех и каждого, с Антиохией Сирийской, расположенной на Оронте. Человечек этот был из тех, кто всячески подчеркивает свою отличку, с видом школьного учителя воздевая назидательный перст. Клеофант пользовался особыми привилегиями и, судя по всему, оказался узником соляных копей по недоразумению, которое, уверял он, скоро разъяснится. Он и впрямь через неделю исчез, притом не испытав на себе ни кандалов, ни одиночной камеры. Внимание Таора Клеофант привлек тем, что отрекомендовался кондитером, знатоком левантийских сладостей. Однажды ночью они оказались рядом, и Таор, не удержавшись, спросил:

— Клеофант, скажи мне, знаешь ли ты, что такое рахат-лукум? Слышал ли ты о нем?

Кондитер из Антиохии привскочил и посмотрел на Таора таким взглядом, будто видел его впервые. Что общего могло быть у этой развалины с рахат-лукумом?

— С чего это тебе вздумалось интересоваться рахат-лукумом? — спросил он.

— Слишком долго рассказывать.

— Так знай же, что рахат-лукум благородное лакомство, изысканное и прихотливое, ему не место во рту и на устах такого отребья, как ты.

— Я не всегда был жалким отребьем, но ты, конечно, не поверишь, если я скажу тебе, что когда-то отведал рахат-лукума, и, если уж говорить начистоту, даже фисташкового. И заплатил, и даже очень дорого, за желание узнать его рецепт. Но, как видишь, я по сей день не узнал этого рецепта…

Наконец-то Клеофант встретил среди подонков-каторжников собеседника, достойного его кулинарных познаний. Он напыжился.

— Слышал ли ты когда-нибудь об адраганте? — спросил он.

— Об адраганте? Нет, никогда, — смиренно признался Таор.

— Это сок кустарника из семейства астрагалов, произрастающих в Малой Азии. В холодной воде он разбухает и становится похожим на клейкую и густую белую слизь. Адрагант занимает привилегированное положение в высших сферах общества. Аптекари делают с его помощью снадобья от кашля, парикмахеры — помаду для волос, прачки употребляют при стирке, а кондитеры — при изготовлении желе. Но своего высшего торжества адрагант достигает в рахат-лукуме. Первым делом адрагант очищают в холодной воде. Для этого его заливают водой в глиняной

миске и оставляют так на десять часов. На другой день надо прежде всего нагреть воду в большом сосуде — это будет водяная баня. Содержимое глиняной миски переливают в кастрюлю, а кастрюлю ставят в водяную баню. Потом ждут, пока адрагант станет жидким, время от времени помешивая его деревянной ложкой и снимая пену. Потом процеживают расплавленный адрагант сквозь сито и опять оставляют на десять часов. По прошествии этого времени его снова ставят в паровую баню. Добавляют сахар, розовую воду и флёрдоранж. Помешивая, варят до тех пор, пока не получится вязкое тесто. Тогда его снимают с огня и оставляют ровно на одну минуту. Потом вываливают тесто на мраморный стол и ножом нарезают на кубики, не забывая вкладывать в каждый из них ядрышко ореха. Потом оставляют в прохладном месте до затвердения.

— Хорошо, а фисташки?

— Какие фисташки?

— Я говорил тебе о фисташковом рахат-лукуме.

— Ничего нет проще. Ядрышки фисташек измельчают до фисташковой пыли, понял? И добавляют в тесто вместо розовой воды или флёрдоранжа, о которых я упоминал. Ну как, ты

удовлетворен?

— Конечно, конечно, — задумчиво прошептал Таор.

Из боязни рассердить своего соседа он не сказал, насколько далека от него теперь вся история с рахат-лукумом, — жалкая пустая скорлупка маленького ядрышка, которое, пустив громадные корни, опутало и перевернуло всю его жизнь, но цветение которого сулило охватить небо.

* * *

Высшее содомское общество не считало для себя зазорным с разрешения администрации соляных копей использовать соледобытчиков-каторжан на тяжелых хозяйственных работах или для временной помощи при каких-нибудь чрезвычайных обстоятельствах. Администрации весьма не нравился этот обычай, пагубный, по ее мнению, для узников, но отказать некоторым лицам в их просьбе было трудно. Таким образом, во время долгих ужинов, на которые собирался цвет Содома, Таор, исполняющий обязанности слуги или виночерпия, узнавал содомских вельмож. Эти обязанности, отвечавшие его гастрономическому призванию, предоставляли ему несравненный наблюдательный пост. Для

хозяев и гостей он как бы не существовал, а он все видел, все слышал, все замечал. Если управляющие соляными разработками опасались, что часы, проведенные в этой роскошной и изысканной среде, подорвут физическую и моральную сопротивляемость узников, они ошибались, во всяком случае в отношении Таора. Наоборот, ничто не укрепляло так бывшего принца Сладкоежку, как вид этих мужчин и женщин, которые, по их словам, были не солью земли, ведь в Содоме нет земли, но солью соли и даже, добавляли они, солью соли из солей. Но это вовсе не означало, что Таор безоговорочно принимал этих проклятых, осужденных, которых объединяли едкий дух отрицания и насмешки, закоснелый скептицизм и умело культивируемое самоутверждение. Слишком бросалось в глаза, что содомиты — пленники предвзятой решимости все хулить и предаваться разврату, которой они скрупулезно следовали как единственному племенному закону.

Одно время Таор находился в услужении в родовитой семье, у четы, жившей на широкую ногу и обиравшей у себя за столом самых блестящих и разнузданных представителей Содома. Супругов звали Семазар и Амрафелла, и, хотя они были мужем и женой, они походили друг на друга как

брат и сестра: лишенные ресниц глаза, никогда не смыкающиеся веки, дерзко вздернутый нос, узкие, искривленные в насмешке губы, а щеки прорезаны двумя глубокими горькими складками. Лица, освещенные умом, всегда улыбаются, но не способны смеяться. Семазар и Амрафелла, несомненно, были дружной и даже гармоничной парой, но в содомском духе, и человек пришлый поразился бы той настороженной злости, которая неизменно царила в их общении друг с другом. С инстинктом бьющего без промаха стрелка каждый выискивал уязвимое место партнера, то, где он себя приоткрыл, чтобы тотчас направить в эту мишень тучу маленьких отравленных стрел. Следуя неписаному правилу содомского общежития, содомиты тем более жестоко терзали друг друга, чем сильнее друг друга любили. Здесь всякая снисходительность была равнозначна безразличию, а доброжелательство — презрению.

Таор как тень бродил взад и вперед по наглухо закрытым залам, где ночи напролет происходили пирушки. От напитков всевозможных ядовитых оттенков, которые перегонялись в лабораториях Асфальтового Озера, воображение разыгрывалось, речи становились громче, телодвижения все циничнее. Здесь говорились и делались чудо-

вищные вещи — Таор становился вынужденным их свидетелем, но отнюдь не сообщником. Он уже понял, что содомская цивилизация зиждилась на трех тесно спаянных основах — соль, резкое понижение уровня земной поверхности и известная форма любви. Что такое соляные копи, их расположение в глубочайших недрах, Таор испытывал на своем теле и душе уже много лет, и скоро должен был настать день — а может, он уже настал? — когда окажется, что он прожил в этом аду дольше, чем в каком-либо другом месте. Это, конечно, помогало ему в известной мере — чисто умозрительно и отвлеченно — понять содомский склад ума. Он вспоминал о своих первых шагах в этом испепеленном городе, когда он заметил, что от всех привычных объемов, от всех естественных высот здесь остались только тени. Ввергнутый в подземную жизнь города, он позднее понял, что рельефы, очертания которых рисовали эти тени, были не просто сплющены пятой Яхве, но вдавлены, превращены в отрицательные величины. Каждая высота в городе отражалась, таким образом, в перевернутой форме глубины, которая одновременно и походила на нее, и была ей прямо противоположна. Этот «мир наоборот» находил свое соответствие в умах

содомитов, которые воспринимали окружающее в виде черных, угловатых, острых теней, уходящих в бездонные бездны. У содомита высота взгляда сводилась к глубинному анализу, подъем — к проникновению, теология — к онтологии, а радость от приобщения к свету разума оледенял страх ночного кладоискателя, который подкапывается под самые основы существования.

Но далее этого Таор в своем понимании проникнуть не мог, ибо он видел, что два известных ему элемента содомской цивилизации — соль и расположение во впадине земли — оставались как бы случайными, один с другим не связанными, если эротизм не обдавал их своим жаром, не одевал своей плотью. Таор не был местным уроженцем, и родители его не были содомитами — вот почему такого сорта любовь внушала ему инстинктивный ужас, и хотя он не мог не восхищаться этими людьми, к его чувству примешивались жалость и отвращение.

Таор внимательно слушал, как содомиты восхваляют свою любовь, но ему недоставало сочувствия, без которого все можно понять только отчасти. Содомиты хвалились, что не позволяют калечить себе глаза, фаллосы, сердце, — увечье это находит свое материальное выражение в об-

резании, которое закон Яхве предписывает сынам его народа, отчего вся доступная им сексуальность сводится к деторождению. Жители Содома издевались над безудержным размножением всех остальных евреев — оно неизбежно приводит к бесчисленным преступлениям, начиная со всяческих попыток вытравить плод и кончая тем, что детей бросают на произвол судьбы. Они вспоминали подлость Лота, содомита, предавшего свой город и принявшего сторону Яхве, а в награду его напоили допьяна и изнасиловали собственные дочери. Содомиты радовались тому, что живут в бесплодной пустыне, они славили ее кристаллическую плоть, то есть плоть, являвшую себя в нагромождении геометрических форм, свою чистую, до конца усвояемую пищу, благодаря которой их кишечник не уподоблялся сточной канаве, наполненной нечистотами, а оставался полой колонной, главным стержнем их тела. По словам содомитов выходило, что два «о» в названии Содом (как и в названии Гоморра, только в обратном смысле) означали два противоположных отверстия человеческого тела — ротовое и анальное, которые сообщаются, перекликаются друг с другом, являясь альфой и омегой человеческой жизни, и любовный

акт содомитов один лишь соответствует этому мрачному и величин. кому тропизму. Они утверждали также, что благодаря содомии обладание не замыкается тупиковым мешком, а вливается в кишечный лабиринт, орошая каждую железу, возбуждая каждый нерв, волнуя каждую клеточку внутренностей, и выходит наружу на лице, преображая все тело в органическую трубу, полостную тубу, слизистый офиклеид с бесчисленными разветвлениями завитков и излучин. Таор лучше понимал их речи, когда они заявляли, что содомия не подчиняет фаллос продолжению рода, а возвеличивает его, открывая перед ним царственный путь пищеварительного тракта.

Поскольку содомия оберегает девственность и не затрагивает опасного механизма оплодотворения она пользовалась особенным сочувствием женщин, вполне уживаясь с истинным матриархатом. Вообще ведь именно женщину, супругу Лота, весь город почитал как свою богиню-покровительницу.

Предупрежденный двумя ангелами о том, что небесный огонь поразит город, Лот предал своих сограждан и вовремя бежал со своей женой и двумя дочерьми. Однако им было запрещено оглядываться. Лот и его дочери подчинились

приказу. Но жена Лота не удержалась и обернулась, чтобы сказать последнее прости любимому городу, уже объятому пламенем. Этот жест любви ей не простили. Яхве превратил несчастную в соляной столп. [14]

Чтобы восславить эту мученицу, содомиты каждый год собирались на своего рода национальный праздник вокруг статуи, которая вот уже тысячу лет покидала Содом, но так неохотно, что ее перекрученное тело было обращено лицом к городу — великолепный символ мужественной верности. Содомиты пели гимны, плясали, совокуплялись «на наш лад» вокруг Мертвой Матери, как они ласково называли ее, обыгрывая аналогию с Мертвым морем, и покрывали всеми видами местной флоры — песчаными розами, окаменелыми анемонами, фиалками из кварца, гипсовыми ветвями — эту женщину, удаляющуюся и в то же время обездвиженную в жесткой спирали своих отверделых покрывал.

Некоторое время спустя в шестой соляной копи появился новый узник. Свежий цвет лица, упитанное тело и, главное, испуг и удивление, с каким он оглядывал подземелье, — все выдавало

---

[14] Примечания: 14
Бытие 19.

в нем человека, только недавно отторгнутого от цветущей земли и ласкового солнца и еще благоухающего той жизнью, которая течет на поверхности. Красные люди тотчас окружили его, желая дотронуться до него и его расспросить. Его звали Демас, он был родом из Мерома, селения на берегу небольшого озера Хуле, через которое протекает Иордан. Эта заболоченная область богата рыбой и водоплавающей птицей, и Демас добывал пропитание охотой и рыбной ловлей. Отчего он не остался в своих родных краях! Надеясь на более богатую добычу, он спустился вниз по течению Иордана сначала до Геннисаретского озера, где оставался довольно долго, потом дальше на юг, пересек Самарию, остановился в Вифании и в конце концов добрался до устья реки у Мертвого моря. Проклятая страна, страшная фауна, зловещие встречи! — стонал он. Почему он сразу же не повернул обратно к улыбчивому зеленому северу? Он повздорил с каким-то содомитом и раскроил ему череп топором. Товарищи убитого схватили Демаса и приволокли в Содом.

Красные люди, посчитав, что выведали от узника-чужестранца все, что могли, отступились от него, а он предался унынию и отчаянию, через которое, прежде чем смириться со своим ужас-

ным положением, проходили все новички. Таор взял Демаса под свое покровительство, ласково, но настойчиво принудил его понемногу начать принимать пищу и потеснился в своей соляной нише, чтобы тот мог вытянуться с ним рядом. Целыми часами они беседовали шепотом в лиловом мраке соляной копи, когда, с ног до головы разбитые усталостью, не могли забыться сном.

И вот тут Демас мимоходом упомянул о проповеднике, которого слышал на берегах Тивериадского озера и в окрестностях Капернаума и которого люди звали обычно Назареянин. Сначала Таор пропустил эти слова мимо ушей, но потом в его сердце вспыхнул вдруг жаркий и яркий огонек — он понял, что речь идет о том самом человеке, которого он упустил в Вифлееме и ради которого отказался вернуться на родину вместе со своими спутниками. Он не стал задавать никаких вопросов и сделал вид, что не обратил внимания на рассказ Демаса, — так рыбак, увидевший великолепную рыбу, которую подстерегал годами, делает вид, что не заметил ее, чтобы не спугнуть, ибо заманить ее в сеть можно, только совершенно затаившись; поскольку времени у них было сколько угодно, Таор предоставил Демасу капля по капле выжимать из

своей памяти все, что тот знал о Назареянине по рассказам или как очевидец. Демас вспомнил о трапезе в Кане Галилейской, где Иисус превратил воду в вино, потом об огромной толпе, которая окружила его в пустыне и которую он досыта накормил пятью хлебами и двумя рыбами. Сам Демас не присутствовал при этих чудесах. Но зато он был на берегу, когда Иисус попросил рыбака отплыть на середину озера, на самое глубокое место, и забросить сеть. Рыбак повиновался неохотно, потому что трудился всю ночь, но ничего не поймал, но на этот раз он испугался, что его сеть порвется, столько в ней оказалось рыбы. Это Демас видел собственными глазами — и свидетельствовал об этом.

— Мне кажется, — сказал наконец Таор, — этот Назареянин больше всего заботится о том, чтобы накормить тех, кто следует за ним…

— Ты прав, — подтвердил Демас, — ты прав, но нельзя сказать, чтобы мужчины и женщины, окружающие его, спешили принять его приглашение Я даже слышал, как он рассказывал довольно горькую притчу, несомненно внушенную ему холодностью и равнодушием тех, кого он хотел сделать счастливыми. Это притча о богатом и щедром человеке, который потратил

много денег, чтобы устроить роскошный обед для своих родных и друзей. Когда все было готово, а гости не явились, он послал к ним раба, чтобы напомнить о пиршестве. Но все под разными предлогами уклонились от приглашения. Одному понадобилось обойти свои новые пашни, другому испытать пять пар только что купленных волов, третий собрался в свадебное путешествие. И тогда щедрый богач приказал рабу созвать к нему всех нищих, увечных, слепых и хромых, кого он встретит на улицах и площадях, чтобы те прекрасные яства, которые я приготовил, не пропали втуне, сказал он.

Слушая Демаса, Таор вспомнил слова, которые произнес сам, выслушав рассказы Бальтазара, Мельхиора и Каспара, — в самом деле, на него сошло тогда, наверно, боговдохновение, потому что, признавшись, что ему чужды художественные, политические и любовные заботы трех волхвов, он высказал надежду, что Спаситель и к нему обратится на языке его задушевных чаяний. И вот устами бедного Демаса Иисус рассказывал ему истории о свадебном пире, о размножившихся хлебах, о чудесном улове, о пиршествах для бедняков, — ему, Таору, вся жизнь которого вплоть до его великого странствия на Восток вращалась

вокруг мыслей о пище.

— Это еще не все, — продолжал Демас. — Мне рассказали о проповеди, которую он произнес в Капернаумской синагоге, такой необычайной проповеди, что мне до сих пор не верится, хотя на свидетеля, мне о ней рассказавшего, можно вполне положиться.

— Что же сказал Назареянин?

— Вот его речь слово в слово: «Я есмь хлеб, сшедший с небес… если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни… Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нем». Эти слова вызвали скандал, и большинство тех, кто следовал за ним, разбежались.

Таор молчал, потрясенный зловещей очевидностью этих священных слов. Ощупью бредя в лучах света, слишком ослепительного для его ума, он, однако, увидел, как события его прошлой жизни приобретают вдруг новые очертания и новую связь, однако он понял еще далеко не все. Так, например, пиршество, устроенное им для вифлеемских детей, и совершившееся в это же самое время избиение младенцев стали сближаться, проясняя друг друга. Иисус не удовлетворился тем, что насыщал людей, он приносил себя в

жертву, чтобы напитать их своей собственной плотью и кровью. Не случайно пиршество и жертвоприношение человеческое в Вифлееме произошли одновременно: это были две стороны одного таинства, неудержимо тяготеющего к сближению. Само пребывание Таора в соляных копях осмыслялось вдруг в его глазах. Ибо бедным вифлеемским детям он предложил только лакомства, доставленные слонами, зато ради детей неплатежеспособного должника он пожертвовал своей плотью и жизнью.

Но из всех речей Назареянина, пересказанных Демасом, глубже всего запали в душу Таора те, где говорилось о свежей воде и о бьющих родниках, потому что вот уже долгие годы каждая клеточка его тела изнывала от жажды, но пытаться утолить ее можно было только горьковато-соленой водой. Каково же было волнение человека, обреченного на муки в соляном аду, когда он услышал такие слова: «…всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять; а кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек; но вода, которую Я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Кто, как не Таор, понимал, что это вовсе не метафора. Он знал, что вода, которая утоляет плотскую жажду, и

та, что брызжет из духовного источника, имеют общую природу, если ты свободен от раздвоения греха. Он вспомнил о наставлениях Рабби Риццы с острова Диоскорид, который упоминал о пище и питье, способных насытить и утолить одновременно плотские и духовные голод и жажду. То, что говорил Демас, так соответствовало душевным потребностям Таора, так точно отвечало на извечные для него вопросы, что не было сомнений: это сам Иисус обращался к нему устами меромского рыбака.

Наконец однажды ночью Демас рассказал, что Иисус, возвратившись из Тира и Сидона, поднялся на гору, называемую *Рога Хаттина*, ей дали такое имя потому, что, располагаясь вблизи деревни с таким же названием в трех часах пути от озера, она формой своей напоминает продавленное в середине седло с торчащими кверху краями. Там Иисус наставлял народ. Он сказал: «Блаженны нищие духом; ибо их есть Царство Небесное… Блаженны кроткие; ибо они наследуют землю».

— А что еще он сказал? — тихо спросил Таор.

— Он сказал: «Блаженны алчущие и жаждущие правды; ибо они насытятся».

Никакое другое слово не могло быть столь непосредственно обращено к Таору — челове-

ку, который так давно страдал от жажды, ибо возжаждал справедливости. Он снова и снова просил Демаса повторять ему эти слова, которые вобрали в себя всю его жизнь. Потом он откинул голову назад, упершись в гладкую лиловую стену своей ниши, и тут совершилось чудо. О крохотное, незаметное чудо — свидетелем его был один лишь Таор: из его разъеденных солью глаз, из гноящихся век на его щеку, а потом на его губы скатилась слеза. Он слизнул эту слезу — это была пресная вода, первая капля воды без соли, которую он испил более чем за тридцать лет.

— Что еще он сказал? — настаивал Таор в восторженном ожидании.

— Он сказал еще: «Блаженны плачущие; ибо они утешатся».

* * *

Вскоре после этого Демас умер — как видно, не мог вынести жизни в соляных копях, — и тело его отправилось в огромную погребальную солильню, куда уже были сброшены те, кто умер до него, и где под воздействием натрия плоть постепенно высыхала, все гнилостные бактерии погибали и мертвецы превращались сначала в негнущихся пергаментных кукол, а потом в статуи из ломкого

просвечивающего стекла.

И снова потянулась череда дней без ночи, настолько схожих между собой, что казалось, это один и тот же день возобновляется снова и снова и нет никакой надежды, что он кончится, что наступит развязка.

И однако как-то утром Таор оказался в одиночестве у Северных ворот города. На дорогу ему выдали льняную рубаху, мешочек с инжиром и горсть оболов — и ничего больше. Выходит, тридцать три года, которыми он обязался оплатить долг, миновали? Может статься. Таор никогда не умел считать, он положился на своих тюремщиков, к тому же само ощущение протекшего времени стерлось в нем настолько, что ему стало казаться, будто все случившееся после его прибытия в Содом произошло одновременно.

Куда идти? Ответ на этот вопрос был предрешен рассказами Демаса. Прежде всего надо выбраться из преисподней Содома, подняться на нормальный уровень человеческой жизни. Потом двинуться на запад, в столицу, где легче всего напасть на след Иисуса.

Страшная слабость во всех членах отчасти восполнялась необычайной легкостью его тела. Кожа да кости, ходячий скелет, Таор парил на по-

верхности земли так, как если бы его с двух сторон поддерживали невидимые ангелы. Хуже было другое — его глаза. Они давно уже не выносили яркого света, веки кровоточили, воскообразные выделения образовали на них корочки, которые сходили мелкими сухими чешуйками. Оторвав подол рубахи, Таор сделал повязку и обмотал ею лицо так, чтобы оставить только узкую щелку, сквозь которую мог различать дорогу.

Так шел Таор берегом моря, хорошо ему знакомым, и, однако, ему понадобилось семь дней и семь ночей, чтобы добраться до устья Иордана. Отсюда он повернул на запад, к Вифании, до которой добрался на двенадцатый день. Это было первое селение, увиденное им с тех пор, как он вышел на свободу. После тридцати трех лет, прожитых рядом с содомитами и их узниками, он не мог наглядеться на мужчин, женщин и детей с человеческим обликом, которые так естественно чувствовали себя среди зелени и цветов; это зрелище было настолько живительным, что повязка на глазах стала лишней, и Таор ее снял. Он подходил к разным людям, расспрашивая их, знают ли они проповедника по имени Иисус. Пятый из спрошенных посоветовал Таору обратиться к человеку, который, кажется, был другом про-

поведника. Звали его Лазарь, он жил со своими сестрами, Марфой и Марией. Таор отправился в дом Лазаря. Дом был заперт. Сосед объяснил Таору, что сегодня 14 Нисана — в этот день благочестивые евреи празднуют Пасху в Иерусалиме. До Иерусалима не больше часа пути, и, хотя уже поздно, он, наверно, еще застанет Иисуса и его друзей у некоего Иосифа Аримафейского.

Таор пустился в путь, но по выходе из деревни его охватила вдруг страшная слабость — он ведь давно не принимал пищи. Однако, подхваченный таинственной силой, он все же продолжал путь.

Таору сказали, не больше часа. Но ему понадобилось три, и он вошел в Иерусалим глубокой ночью. Он долго искал дом Иосифа, который сосед Лазаря описал ему довольно невнятно. Неужели он опять опоздает, как когда-то в Вифлееме, в такие далекие для него теперь времена? Таор стучался во многие двери. Поскольку была Пасха, ему отвечали приветливо, несмотря на столь поздний час. Наконец отворившая ему дверь женщина подтвердила: да, это дом Иосифа Аримафейского. Да, Иисус и его друзья собрались в комнате наверху, чтобы отпраздновать Пасху. Нет, она не уверена, что они все еще там. Пусть он сам поднимется наверх и посмотрит.

Стало быть, снова надо подниматься вверх. С тех пор как Таор покинул копи, он только и делал, что поднимался вверх, но ноги его больше не слушались. И все же он заставил себя подняться, толкнул дверь.

Комната была пуста. Он снова пришел слишком поздно. За этим столом недавно трапезовали. На нем еще стояли тринадцать чаш — неглубоких и очень широких кубков, на низкой ножке, с двумя маленькими ручками. В некоторых чашах на дне оставалось красное вино. А на столе валялись крошки того пресного хлеба, который евреи едят в этот вечер в память исхода их предков из Египта.

У Таора закружилась голова: хлеб, вино! Он протянул руку к одной из чаш, поднес ее к губам. Потом схватил кусочек мацы и проглотил его. И тут он пошатнулся, однако не упал. Два ангела, которые хранили его с той минуты, как он вышел на свободу, подхватили его своими огромными крыльями, ночное небо распахнулось, просияв необозримым светом, и ангелы унесли того, кто, быв последним, вечно опаздывающим, первым причастился Святых Тайн.

Постскриптум

1. Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят:

2. где родившийся Царь Иудейский? ибо мы видели звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему.

3. Услышав это, Ирод-царь встревожился, и весь Иерусалим с ним.

4. И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них: где должно родиться Христу?

5. Они же сказали ему: в Вифлееме Иудейском; ибо так написано через пророка:

6. «И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных; ибо из тебя произойдет Вождь, Который упасет народ Мой, Израиля».

7. Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды.

8. И, послав их в Вифлеем, сказал: пойдите, тщательно разведайте о Младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться Ему.

9. Они, выслушав царя, пошли: и се, звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над *местом*, где был Младенец.

10. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою.

11. И, войдя в дом, увидели Младенца с Мариею, Матерью Его, и, пав, поклонились Ему; и, открыв сокровища свои, принесли Ему дары: золото, ладан и смирну.

12. И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою.

13. Когда же они отошли, — се, Ангел Господень является во сне Иосифу и говорит: встань, возьми Младенца и Матерь Его, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе; ибо Ирод хочет искать Младенца, чтобы погубить его.

14. Он встал, взял Младенца и Матерь Его ночью, и пошел в Египет.

15. и там был до смерти Ирода, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит «из Египта воззвал Я Сына Моего».

16. Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от

двух лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов.

Эти строки Евангелия от Матфея — единственное упоминание о трех волхвах в текстах Священного Писания. В Евангелиях от Марка, Луки и Иоанна о них не сказано ни слова. Матфей не уточняет, сколько их было. Но цифру три обычно выводят из упомянутых трех даров: золото, ладан и смирна. Остальные сведения, в том числе имена Каспара, Мельхиора и Бальтазара, восходят к апокрифическим текстам и легендам.

Поэтому автор имел право, опираясь на основы полученного им христианского воспитания и на великолепную иконографию, вдохновленную темой поклонения волхвов, придумать судьбу и личность своих героев.

Иначе обстоит дело с царем Иродом Великим, исторической фигурой, о которой написано очень много, в частности иудейским историком Иосифом Флавием (37–100 после Р. Х.). Глава, посвященная Ироду, в основном вдохновлена его трудом, но также и другими источниками, в частности исследованиями Ажекоба С. Минкина и Герхарда Праузе.

Легенда о четвертом волхве, который явился из более дальних краев, чем другие, опоздал в

Вифлеем и странствовал до самой Страстной Пятницы, рассказывалась неоднократно, в частности американским пастором Генри Л. Ван Дайком (1852–1933) и немцем Эдцардом Шапером (род. в 1908 г.), которого вдохновила русская православная легенда.